



РУФЬ ЗЕРНОВА

ИЗРАИЛЬ И ОКРЕСТНОСТИ

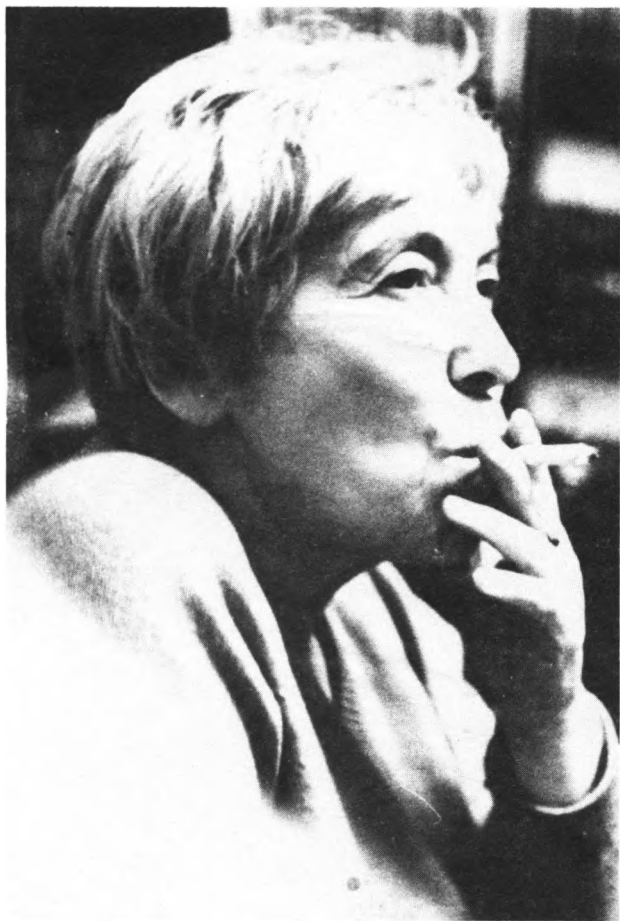
РУФЬ ЗЕРНОВА

ИЗРАИЛЬ И ОКРЕСТНОСТИ



РУФЬ ЗЕРНОВА

ИЗРАИЛЬ И ОКРЕСТНОСТИ



Руфь Зернова

РУФЬ ЗЕРНОВА

**ИЗРАИЛЬ
И ОКРЕСТНОСТИ**



**БИБЛИОТЕКА—АЛИЯ
1990**

רות זירנובה
בישראל ומחוצה לה
Ruth Zernova
Israel and its Surroundings

Обложка *М. Липкин*

ISBN 965-320-147-6

©

All rights reserved

עורכית חיפה
הוצאת תרבות הפנאי
סניף תל אביב - לסימון
רח' ארבעה עשר - סניף
ס. מלאי.....

כל הזכויות שמורות
לספרית-עליה

ת.ד. 4140, ירושלים

יצא לאור בסיוע:

האגודה לחקר תפוצות ישראל, ירושלים

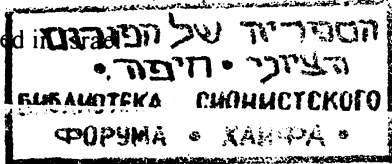
ואירגון הג'וינט העלמי, ניו-יורק

782

Supported by The Society for
Research on Jewish
Communities, Jerusalem, and
The American Jewish Joint
Distribution Committee,
New-York

OCR Давид Титиевский, январь 2020 г., Хайфа

Printed in



СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие автора	7
Попутчики	9
Шелковые чулки	39
”Все обеты”	47
Что вдруг?	59
Элизабет Арден	87
Время надежд	141
Пасхальная неделя 1953 года	169
Портрет абсолютно прекрасного человека ..	181
Лаборантка Орна	197
Америка зе бьютифул	207
Прекрасная племянница	219
Изумрудный перстень	227
Жаботинский — прозаик	239
Наши дороги домой	249
Примечания	293

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Это — моя десятая книга. Первые семь вышли в Советском Союзе, одна в Америке ("Женские рассказы", изд. "Эрмитаж"), еще одна — "Это было при нас" — в Иерусалиме, в издательстве "Лексикон".

В этот мой сборник вошли некоторые вещи из двух последних книг. Многие печатались в газетах — "Русская мысль" и "Новое русское слово". Кое-что переведено на итальянский и английский. Очерк "Наши дороги домой" нигде не печатался. Я писала его долго — получилось что-то вроде дневника.

Ход событий ускоряется с каждым днем. Кажется, что не только статьи, претендующие на анализ и прогнозирование (раньше это нескромно называлось "пророчество"!), но даже ни на что не претендующие воспоминания (то бишь мемуары) устаревают раньше, чем автор успевает поставить точку.

Но то, что сегодня устарело, завтра станет старинным, а послезавтра — самым последним новым словом. В этом всех нас убеждает ход истории, который мы наблюдаем каждый день, благодаря этому, не задуманному заранее и никем не провозглашенному ускорению.

Этот спиралевидный ход, быть может, противоречит линейному прогрессу, но искусствам помогает. В том числе — изящной, а иногда и

не изящной словесности.

И потому писатели ищут друзей в новых, иногда даже чуждых, поколениях. Друзей - читателей.

К ним обращена и эта, моя десятая книга.

Р. Зернова

ПОПУТЧИКИ

Феликсу Ингольду

В один прекрасный день — собственно говоря, день был холодный и серый, — мы сели в поезд Париж — Бордо и поехали в Пуатье. В купе был всего один пассажир. Пассажир был средних лет и одет по возрасту. Никаких джинсов: модная тройка, белоснежная рубашка, галстук. Бордо, страна Мориака, крупная буржуазия, крупные деньги, крупные дела. Все было похоже.

Поезд тронулся, вошел еще один пассажир, тоже средних лет, тоже в тройке и при галстукке. Только первый был блондин, а второй — яркий брюнет испано-грузинского вида. Они заговорили.

У них нашлось много общего: блондин был коммерческим директором фирмы, которую брюнет хорошо знал. Мориак продолжался. Говорили о положении в металлургической промышленности, о забастовках, о патернализме. Какой-то им обоим известный Дюпон слишком надеется на патернализм, а время сейчас не то. Блондин в разговоре вел: брюнет с жаром соглашался. Между ними протягивались теплые нити взаимопонимания. Брюнет сказал, что он тоже представляет фирму и что его фирма будет сливаться с фирмой Леблана — знаете?

— Еще бы, — сказал блондин. — Кто же его не знает? Конечно, я его знаю. Он даже предлагал мне у него работать. Но я не согласился. Мне показалось, что в нем что-то есть антисемитское.

— О, мсье, что вы! Я его хорошо знаю. Нет, нет. Я женат на его сестре!

Мсье продолжал:

— Что-то антисемитское. Видите ли, я еврей, и...

— Я тоже! Но уверяю вас, что вы ошибаетесь! Я говорю вам: я женат на его сестре!

— ... и я о-чень к этому внимателен. Хорошо, конечно, если я ошибаюсь. Но, в общем, что-то показалось, и я не согласился.

— Конечно, вы сами понимаете, я бы не стал говорить, если бы не был уверен! Но тут я уверен, больше чем уверен!

— Может быть, вы и правы. Впечатление... Я привык присматриваться. У нашей фирмы много дел в Германии. Ну, а теперь еще китайский рынок открывается...

Опять пошел Мориак. Но нет.

— А вы родились во Франции, разрешите спросить?

— Нет, я родился в Голландии. И мои родители родились в Голландии. Но деды мои из Центральной Европы. Из Польши, вероятно, а может быть, это Россия. Вот эти господа говорят по-русски и я кое-что понял.

— Мы из Иерусалима, — говорю я. — То есть мы русские, но мы из Иерусалима. То есть мы русские евреи...

— Про вашего мужа я сразу понял, что он еврей, — говорит голландец.

— Скажите, — с жадным интересом спрашивает брюнет, — ну как там, в Израиле? Вы в самом Иерусалиме живете? В самом Иерусалиме? Я так хотел туда поехать! Я непременно

туда поеду! Вот моя мать — она туда ездит! Она уже два раза там была!

— А вас легко выпустили из России? — спрашивает голландец. — Об этом много пишут. Я читал книгу этого... Владимира Буковского. Что вы о нем думаете? По-моему, очень порядочный человек.

— Да-да, я тоже читал! Это ужасно — так жить! Какое мужество! Это настоящий мужчина, конечно! Я вас понимаю, что вы уехали! Ну, и как вы теперь устроились? Вы счастливы, что уехали? Для моей матери это вопрос! Конечно, мы все очень хорошо устроены во Франции, и я, и мои братья, но она хотела бы, чтобы мы жили там! У нас там есть родственники, она к ним ездит! Как вы думаете, договорятся Бегин с Садатом?

— Мы надеемся, что договорятся.

— Договорятся, — говорит голландец, — они оба в этом заинтересованы. В Европе этого не понимают, и в Америке тоже не понимают, но это просто ближневосточная манера вести дела.

— О да, да! Моя мать говорит, что это обыкновенный восточный базар: нельзя купить сразу, надо торговаться, отходить, кричать, возвращаться, потом опять отходить... Вероятно, она права. Мы все так хотим, чтобы там у вас наступил мир! Но, конечно, палестинцы!

— Да, палестинцы, — говорит голландец.

— А скажите, — спрашиваю я, — ваши родители живы?

— Они погибли в Освенциме. А меня взяли иезуиты. Но в двадцать два года я опять вернулся, стал евреем. Впрочем, я не сионист. Я еврей, но не сионист.

— По-моему, государство Израиль необходимо! — говорит брюнет.

— Я не против государства Израиль, я просто

не сионист, не думаю, что всем евреям надо жить в Израиле.

— Разумеется, нужны и те и другие!

— А вы сефард^{1*}, не так ли?

— Ну, конечно! Вы как увидели?

— Я всегда узнаю сразу.

— Скажите мне, но как это можно? Вот, меня часто принимают за итальянца!..

— Я обычно сам говорю, что я еврей. Во избежание...

— А зачем? Я никогда не говорю! Если меня спрашивают — ну, тогда... А если меня спрашивают: какой вы религии? — я спрашиваю: а вы? Это я всегда делаю, спрашиваю: а вы?

— Ммм...

— По-моему, это очень правильно спрашивать: а вы? В конце концов, я так же мало обязан отвечать, как и он! Франция — свободная страна!

— Свободная-то она свободная. Знаете, какой антисемитизм сейчас в Америке? Профессора-евреи — там очень много профессоров-евреев — все время посылают запросы в Европу. Хотят переезжать, потому что там им трудно. Нет, конечно, там нет такого открытого антисемитизма, но тем не менее. Нет, я был в Америке, мне там не понравилось.

— Мне тоже не понравилось! Но американцы — деловые люди! Хотя, по-моему, лучше всего иметь дела с евреями. Вот в делах я сразу понимаю, что имею дело с евреем! Это как-то сразу ощущаешь...

— О да, в делах сразу ясно. Но я все равно евреев узнаю, не только в деловых отношениях.

— Но как? Как?

¹Цифрами обозначены примечания, помещенные в конце книги.

— Привычка, наметанный глаз, называйте как хотите. Вот видите, в вас сразу узнал сефарда. Марокко?

— Ну, что вы! Алжир! Алжирская община почти целиком во Франции. Это самая культурная община, самая европейская. Да, вот меня обычно принимают за итальянца, а вы сразу... Нет, я не скрываю, что я еврей, зачем? Франция — свободная страна; здесь можно быть кем угодно! Хочешь — ходи в церковь, хочешь — в мечеть, хочешь — в синагогу! Я, например, хожу в синагогу! Мы, сефарды, вообще очень привязаны к своей религии, больше чем ашкеназы.

— А жена у вас католичка? — спрашиваю я.

— Католичка (вздых).

— У меня тоже жена католичка, — говорит голландец. — Надо сказать, это создает много проблем.

— Массу проблем! Конечно, для моей матери это трагедия! Ведь мы, сефарды, были всегда очень привязаны к религии. А дети мои — у меня двое... И притом сыновья!

— У меня четверо. Две дочери, два сына.

— С дочерьми легче, не правда ли? Конечно, я мог бы сделать их евреями! Но ведь даже по закону они не евреи! По еврейскому закону, правда? У вас в Израиле они ведь тоже не считались бы евреями?

— Все зависит от них самих, — говорит голландец. — От их сознания.

— Но сейчас ваши дети ходят в церковь или в синагогу?

— В церковь. Я тоже ходил в церковь, до двадцати двух лет. И, как видите, остался евреем. Или, вернее, опять стал им. Никто меня не заставлял, как вы понимаете, я был христианином, и имя, и фамилия...

Совсем недавно, в Медоне, молоденькая парикмахерша-блондинка, узнав, что я из Иерусалима, говорила, делая страшные глаза:

— Для меня это не понятно! Сколько люди делали евреям зла! И эти иезуиты особенно — вы знаете, что они творили?

То ли это смутные воспоминания об Эжене Сю, то ли народная память, загадочная штука, может быть, та самая, которую позитивистская литература объявила "ложной памятью". Блондинка во Франции не такая уж редкость, но она родом из Арля или из-под Арля, в общем, откуда-то с юга, где белокурые волосы в диковинку. "Все дело в том, что наш прапрадед был из Польши, он поселился в этой деревне в 1815 году. И с тех пор все женщины в семье блондинки, а все мужчины — брюнеты..."

Видно, воевал в наполеоновской армии тот дальний поляк, побоялся возвращаться, и южная земля Прованса его приняла. Зато и он отплатил: у парикмахерши не только светлорусые волосы, но и тонкий нос и уголки глаз приподняты с польской затейливостью.

У голландца тоже что-то польское осталось в лице от его лодзинских или вильнюсских предков. Какая-то тонкость. Была бы даже заостренность, если бы не десятилетия обеспеченной европейской жизни. В самом деле, как он может определять еврея? Разве он сам похож на моих родственников с Днестра — высокоскулых и темноглазых?

А они перебирают:

...Энрике Масиас тоже еврей,

...да неужели? Я не знал. Я знал, что Ги Беар...

...ну, этот — всем известно. Он ходит в синагогу.

Похоже на наши разговоры в России. На те разговоры, о которых вздыхает иерусалимский знакомый, москвич:

— Мы говорили совершенно свободно! На нашей кухне мы говорили совершенно свободно! Нет, конечно, не с кем угодно, но со своими. И, может быть, в этом и было самое главное, самая прелесть этих разговоров.

В подразумевании, в тайной общности, в риске была маленькая привилегия, о которой тоскует наш знакомый.

У Окуджавы хорошо о привилегиях:

Здесь остановки нет, а мне — пожалуйста!
Шофер автобуса — мой лучший друг.

Ученый с мировым именем объяснял, почему его не любит директор института:

— Вот, например, идем с ним в пивную. Гармонист непременно ко мне подсядет и будет играть все, что я попрошу. А к нему — никогда. Ну, как ты думаешь, может он это простить? Да ни в жисть!

Тоже привилегия.

Есть в ностальгии тоска по привилегиям, есть! И в том числе по невозвратимой привилегии — молодости. Сколько бы ни было тебе лет там, ты был моложе. И по исключительности положения, потому что на какое-то время мы, каждый из нас, приобрели исключительность не только в собственных глазах.

В одном из немецких университетов мы встретили поволжского немца, бывшего спецпереселенца. Он был рослый, рыжевато-белокурый, с голубыми глазами.

— Похож на русского, правда? — спросил профессор Л.

— Он? Для нас он типичный немец.

— Разве? А на наш взгляд, это русский.

Профессор задумался и добавил:

— Глаза другие. Или точнее, из глаз другое.

Переселенец тосковал. Все, все было ему тут чужое — и больше всего язык. Он не хотел учить немецкий — он никогда не сможет выразить на нем все то, что выражал на русском: свою тоску по Германии, по земле отцов, прадедов, когда-то легкомысленно покинувших ее по призыву матушки-Екатерины; свое понимание прав человека и немца; свое негодование, свое возмущение несправедливостью; все то, что много лет составляло содержание его жизни.

И вот, — кончилось это содержание, а другое не пришло. Все достигнуто — и наступила пустота.

— Мы здесь совершенно одиноки, — говорил он нам. — Не с кем слова сказать.

А о чем говорить? О том, как он боролся за свой отъезд?

— Как вас отпустили? — спрашивает сефард.
— Это было очень трудно?

— Нет, у нас фактически никаких трудностей не было. В нашем возрасте...

— Ах, ну да, ну да!

Щекотливая тема — возраст.

— Вы довольны? — спрашивает голландец.
— Я понимаю, что вы оставили там друзей, связи, но как вы считаете... То есть вам нравится в Израиле?

— О да!

Они смотрят пытливо, оба. Они хотят понять. Как им объяснить? Другим я рассказываю про холмы, про нестерпимый свет, про некий оптический феномен. Когда смотришь на эти холмы, то все приближается, — в пространстве, во времени, в реальности. Иисус Назорей и Те, Кого принимал у себя Авраам, здесь ничуть не менее реальны, чем, скажем, Ричард Львиное сердце. Каждый должен побывать здесь, хоть раз. Потому что здесь — Начало.

Но однажды мне возразили:

— Почему — здесь? А Индия? А Китай?

По этому поводу Гегель когда-то все объяснил — насчет мирового духа. Мы приняли его объяснение и с тех пор не проверяли. Может, пора уже проверить? Китайцы выдумали порох задолго до Бертольда Шварца, но употребляли его на пиротехнику. Они тогда не стремились еще к самоуничтожению — мировой гегелевский дух их не осенил. А индийский покой, нирвана, согласие с природой? Это тоже не бег к самоуничтожению. Дремлющий в покое дух.

Но только все это похоже на тургеневский сон: человек сел на землю, чтобы не попасть в яму, и тогда яма стала двигаться к нему. Не избежать, не уйти.

Жалко только деточек, мальчиков да девочек, солнышка на небе, да любви на земле.

Человек, который возразил мне про Индию, — мусульманин. Мусульманин по выбору. По рождению он русский, сын эмигрантов второй волны; вырос в Америке. В юности, когда другие играют в регби, он искал Бога; попал в Марокко переводчиком, слышал призывы муэдзина и пошел в мечеть.

— Может быть, — говорил он, — если бы меня позвали евреи...

Лицо у него русское, акцент польский, манеры американские, деньги швейцарские — он там работает.

— А вам нравится в Израиле? — спрашивал он.

— О да!

— Почему?

— Мы там дома.

И голландцу я отвечаю:

— Мы там дома.

— Я там был дома, — кричал наш иерусалимский знакомый. — Там, на Третьей Мещанской!

Я рвался сюда, я был сионистом! А теперь понял — я русский.

— А в России вас считали русским?

* *

*

А за окном хорошая погода. Солнце. Мы перегнали снег. Он отстал, он задержался в Париже — просто прилег отдохнуть в сквериках, садиках, у подножий бесчисленных статуй. Набушевался в новогоднюю ночь, разыграл свой собственный бал, показал парижанам, кто хозяин, вывел из строя автомобили, заставил женщин подметать вечерними юбками эскалаторы метро. Сейчас он там лежит, смирный, и даже под ногами не похрустывает. Мы от него уехали. А в Иерусалиме бывшие ленинградцы будут жадно спрашивать: там снег? Снег?

Соль-до, ля-ре, ленинградская песня про снег...

— Мы там дома.

— Я это понимаю! — с жаром говорит сефард.

— Моя мать тоже говорит, что нигде не чувствует себя так, как в Израиле.

— А я там никогда не был.

— И я еще не был. Но поеду обязательно! Обязательно! Киббуцы!² Вы бывали в киббуцах? Ну, конечно. А скажите, трудно вам было решиться — вот так, оставить все? Ну, конечно, что это я спрашиваю! Но вы не жалеете? Вы сошлись с сабрами?³ У вас есть друзья среди них? Или вы живете своей, русской общиной?

В Америке, в Беркли, москвичка сказала:

— Я здесь уже пять лет. Но телефон мой звонит только по-русски. Хорошо это или плохо — но мы не стали американцами.

Стали ли мы израильтянами? Наш телефон тоже звонит по-русски. Иврит мой годится только

для базара — и то не всегда. Из газет мы читаем "Джерузалем пост". По телевидению смотрим "Французский час" и английские детективы. И до сих пор в магазине, когда предстоит серьезная покупка, я спрашиваю продавца: ата медабер рак иврит (вы говорите только на иврите)?

Откуда же это чувство принадлежности, общности, кровности?

Я не зажигаю свечей — не хожу в синагогу — не знаю молитв — негодную на отсутствие транспорта по субботам...

Откуда же это странное живое чувство к холмам, к земле?

Я не думаю, что все должны сидеть дома и евреи должны жить только в Израиле. Подозреваю, что есть у них и другое назначение. Вероятно, прав был Бердяев, когда говорил, что они — дрожжи в любом обществе. Может ли существовать общество без дрожжей? И к чему дрожжи без общества?

Когда я вижу на улицах июльского Иерусалима маленьких девочек в толстых чулках и зашнурованных ботинках (Господи, где же это они достают такие ботинки?) — я их жалею и возмущаюсь нелепостью их вида. Потом я смотрю в лицо человеку в шляпе, который ведет девочек за руки. Я вижу лицо своего деда, своего отца, своего дяди, своего одноклассника в советской одесской школе. Я встречаюсь с ним глазами, и то, что идет из глаз, — знакомо, узнаваемо, передает, сообщает какой-то знакомый код. И я думаю, что без них мы не были бы собой.

Кто-то сказал: это наше мясо. Не мясо — хребет. Не дрожжи, а заостенелость. Не будет этого хребта, не будет окостенелого позвоночника — все размякнет, расплывется, растворится в национальном перегное.

А так может, одна из этих девочек в ботинках родит человека, который забродит и пойдет бродить по миру, оставляя на пути свои дрожжевые грибки, свой заквас. И будет вино для всех. Или пена.

— Ну, конечно, у нас есть друзья-сабры. И родственники, которые живут здесь с одиннадцатого года. Их дети родились здесь — настоящие сабры. И зовут их по-здешнему. Например, моего двоюродного брата зовут Узи.

— А на ком женат ваш брат? Тоже на русской?

— Нет, его жена из Германии.

— Ну да, это все Восточная Европа.

— Ашкенази, — говорит голландец и улыбается. Улыбка у него тонкая, понимающая, невеселая.

— А скажите, правда... Мне это очень странно, но говорят, что так и есть. Скажите, правда, что у вас сефарды — СЕФАРДЫ — считаются, ну как бы людьми второго сорта? Это просто невероятно!

— Мама, почему я ашкеназия? — спрашивала восьмилетняя девочка. — Я не хочу быть ашкеназия. Я хочу быть сфарадия!

— Почему? Что плохого, если ты ашкеназия?

— Хм! Все говорят, что ашкеназим — грязные.

— А ты разве грязная?

— Да нет, это просто так говорится. Мерав мне сказала: неужели ты ашкеназия? (Мать Мерав из Йемена, отец из Ирака.) Я не хочу быть ашкеназия. Нельзя что-нибудь сделать?

— Можно. Найти себе других родителей.

Разговор в России. "Мама, разве я еврейка? И ты еврейка? И папа? Как же так? Я не хочу быть еврейка. Я хочу — как все!"

Рассказываю это сефарду. Он смеется, показывая белоснежные зубы.

— Нет, а если всерьез?

— Президент у нас сефард.

— Ну да, Навон⁴, это известно. Но другие?

Как известно, йемениты прибыли в Израиль тридцать лет назад прямо из средневековья. Они знали только то, что знали во времена царя Соломона, когда он послал их туда, где теперь Йемен. Свое ремесло и Тору⁵. Неграмотных мужчин среди них не было.

Кстати, о грамотности. Один университетский профессор в Ленинграде говорил: это все-таки поразительно! Все они — все! — были поголовно грамотными еще три тысячи лет назад! Нет, как хотите, правильно, что для них существуют ограничения в приеме. Представляете, какое у них преимущество? Три тысячи лет сплошной грамотности! Нет, я согласен: нельзя их пускать без ограничения.

Он, конечно, шутил.

Так вот, йемениты. Тридцать лет назад прибыли они сюда из времен царя Соломона "на птице" — так они называли самолет, который их ничуть не удивил: им так и было обещано, что они вернутся на птице. Теперь они — лучшие врачи, офицеры, учителя. Кажется, даже инженеры. А уж их иврит! Самый чистый, самый образцовый, неподражаемый, некартавый...

— Да, йемениты, я слышал... А те, что из Марокко?

— По-разному. Кажется, самый культурный слой перекочевал во Францию?

— В общем, да. Почти все наши родственники — у нас там тоже были родственники. И все-таки, все-таки... Значит, и у вас неравенство!

— Как в любой семье, — говорит голландец. — У меня четверо, и все разные.

— Ну, это совсем другое! Это просто несходство! Нет, говорят, раньше было по-другому. Нам рассказывали, как раньше это было... Ни

воровства, ни хулиганства, двери не закрывались нигде...

В ленинградской пересыльной тюрьме в 1949 году польская еврейка рассказывала про Израиль:

— Вы думаете, это такие же люди? Маленькие, очкастые, заросшие? Вы знаете, какая там молодежь? Это полубоги! Рослые, сильные, прямые! И знаете, что удивительно? Они блондины!

— Ну да?

— Вот именно. Это самое удивительное. Все поголовно — блондины!

— Что ж тут удивляться. Время проходит. Люди есть люди.

— Да, конечно, люди есть люди!

— Всем хочется жить лучше.

— Ну, понятное дело!

— Но от евреев требуют еще чего-то. Чего-то другого.

— Чтобы они были какие-то полубоги!

(И блондины.)

Поезд делает поворот, солнце ударяет в стекло, в смуглое веселое лицо сефарда; он отклоняет голову назад, и его правильные черты успокаиваются: губы смыкаются, брови перестают играть. Лицо подсыхает, и в нем проступает скорбь. Такие лица я видела в огромной толпе перед Харьковским эвакопунктом в августе сорок первого года.

— Вы хотите знать, чего они требуют от евреев? — говорит голландец. — Да очень простой вещи: чтобы они перестали существовать.

— Нет, нет, не могу с вами согласиться! Не все! Нет-нет!

Голландец поворачивается ко мне: его лицо выражает приветливый интерес:

— По-моему, в Израиле думают так, как я.

— Послушайте, я вам расскажу про себя! Когда мы приехали во Францию, первый человек, который нам помог, был не наш родственник! И даже не еврей! Это была француженка, настоящая француженка, графиня...

— Графиня?

— Да-да, графиня, настоящая графиня, не только по мужу! Ее фамилия — вы ее в любой истории Франции найдете! Да, французская графиня. И она нам помогала!

— Из марранов?⁶

За несколько месяцев перед тем знакомый испанец, довольно левый, на приглашение приехать посмотреть Иерусалим ответил:

— Пока не будет заключен мир — не приеду. Пока евреи не проявят соображения и воображения.

— Последние две тысячи лет они только это и делают.

— Я не про две тысячи, я про два пятнадцатилетия. Ты бывала в лагерях беженцев?

— Видела Газу.

— Ну?

— Ты знаешь, он очень любит арабов, — вступила его жена, учуяв, что возникло какое-то напряжение. — Он даже выучил арабский язык, он говорит по-арабски. Он бывал в лагерях, он принимает к сердцу их дело...

— Левым сейчас хорошо. Наконец-то они откровенно стали на сторону богатых против бедных.

Он онемел.

— Если бы я не была еврейкой, — говорит жена, — то, кто знает... он бы совсем стал антисемитом!

— Ну, уж в антисемитизме меня не упрекнешь. Я читаю курс об арабо-еврейских влияниях на

испанскую культуру. Как раз я именно сейчас, именно сейчас этим занимаюсь...

— Ну, и как — большой вклад?

— Немалый. Сервантес, например, был "новый христианин", это уже, я считаю, установлено. Знаешь, кто такие "новые христиане"? Те, что крестились в четырнадцатом-пятнадцатом веке. Евреи и мусульмане. И женились они на своих, на таких же. Жена Сервантеса была родня Рохасам. Знаешь, кто такой Рохас? Автор "Селестины"?

— Марран?

— Не марран, а "новый христианин". Из этих, "острых и беспокойных". Да, да, именно так их называли, такие были тогда синонимы. (Сейчас в России говорят "шустрые".) У старых христиан были обратные свойства: спокойствие, степенство и неторопливость.

(Насчет степенства мы тоже кое-что можем вспомнить из русской истории.)

— У Лопе де Вега (у вас в России его очень поднимают, Лопе де Вега, а ведь в "Фуэнте Овехуна" все дело в том, что у крестьян кровь чистая, а сеньоры роднились с неверными, потому-то они и плохие) есть даже такой диалог: "Ты еврей?"

— "Нет, сеньор." — "По остроте ты похож на еврея."

Да ну, эту самую "остроту" найдешь в протоколах Святой инквизиции сколько хочешь. У Рохаса отец был, по всей вероятности, сожжен инквизицией. Да, Рохас был "острый". Как и Гонгора.

— Гонгора?..

— А как же? Кеведо писал: я свои стихи натру шпиком, чтобы ты, Гонгорилья, их не попробовал!⁷

Они были соперники, Кеведо и Гонгора. Такой юмор: натереть стихи шпиком.

У Сервантеса чувство юмора было другое.

В московской школе в пятьдесят третьем году учительница сказала:

— Чему вы улыбаетесь, Визен? Ирония — не русская черта.

Визен, правда, был немец, но учительницу ввела в заблуждение фамилия, какая-то нерусская.

Сефард недоволен.

— Ну, это вы шутите! Графиня не из марранов! Ведь марранов во Франции нет, это — испанские дела! Там, говорят, даже теперь есть евреи, которые соблюдают все обряды, но — тайно! Тайно!

— Там теперь синагогу открыли в Мадриде, даже королева присутствовала на открытии.

— Ну, это для тех, кто там появился во время войны! Франко ведь евреев пускал! Открыл им границу, а потом и вообще пригласил — чтобы развивали экономику и торговлю!

— И они поехали.

— Да, поехали! Говорят, сефарды там сразу получают гражданство.

— Я тебе скажу большой секрет, — сказал Исааку Цукернику испанский солдат.

Дело происходило в 1938 году, во время гражданской войны. Цукерник, студент-лингвист Ленинградского университета, тот самый, который впоследствии напечатал статью о Христофоре Колумбе, вызвавшую некоторый шум, был в Испании военным переводчиком.

— Ну?

— Я видел еврея.

— Ну?

— Ты, что, не понимаешь? Я ВИДЕЛ ЕВРЕЯ!

— Где? — спросил Исаак, смекнувший, наконец, что Испания — не коридор филфака.

— В деревне около Лериды.

— А как ты узнал, что он еврей?

— Я догадался.

— Как?

— Ну, догадался. Ты бы тоже догадался. Понимаешь, он... он молился. Я так думаю, что молился. Он меня не заметил, я видел его в окно. Он по книге молился, но не по такому молитвеннику, как у всех. Я неграмотный, но все же знаю, в той книге были совсем другие буквы.

— И что же ты сделал?

— А ничего. Все равно в той деревне уже ни церкви не было, ни падре — кому скажешь?

— А надо было сказать?

— Ну, все-таки... А с виду никогда не подумаешь. Такой, как все.

— Я видел евреев, — рассказывал через сорок лет бывший комиссар республиканской дивизии, в 1939 году эмигрировавший в СССР. — В Болгарии я видел евреев. Из Толедо.

— Давно из Толедо?

— Ты смеешься? Это те, которых выгнали из Испании... когда это было? Ну, в тот год, когда Колумб открыл Америку. Понимаешь, они говорят по-испански, до сих пор. Такой испанский язык, как в Дон-Кихоте, красивый. Но даже не в этом дело. У них ключ от их дома в Толедо. Представляешь? Сколько лет они сохраняют его. Огромный такой ключ! Я знаю Толедо, там есть "Пласа Худия", Еврейская площадь. Наверное, там они и жили. И они думают, что вернутся. Очень приятные люди, совершенно похожи на испанцев.

— И ведь не скажешь, что у евреев короткая память, — говорит голландец. — У них очень хорошая память. Но как они могли вернуться в Испанию? После всего?

— Америко Кастро пишет, что "золотой век" Испании — XVI век — был веком противостояния двух каст — "старых" и "новых" христиан". Он подчеркивает, не *рас*, а *каст*: для него и

те и другие — испанцы. "Израильтянам не хочется признавать того, что испанские евреи были прежде всего испанцами и что Испания была для них вторым Израилем. Испанцы же, со своей стороны, хотели бы освободить свою страну от всякого еврейства, не понимая, что так они лишают Испанию самого ее нутра — ее межкустовых связей, того самого, что сделало из испанской цивилизации нечто единственное, не имеющее параллелей в Европе... Могла ли бы произойти в другой культуре титаническая встреча романа Сервантеса и драматургии Лопе де Веги? ... Эти две, с виду такие разные Испании, в действительности были тенью и отражением одна другой и стимулировали друг друга. Ибо так называемые новые христиане наложили на Испанию свой неизгладимый отпечаток. ...создали новую литературу, непохожую на общепризнанную; замалчивание этого феномена исказило образ и идею "золотого века" испанской литературы".

Все это напечатано в Мадриде, не сегодня, а в конце 1957 года. Через триста сорок лет после смерти Сервантеса, через четыре года после смерти Сталина. В Москве, в Ленинграде уже начинали забывать кампанию против безродных космополитов, скрывшихся под русскими псевдонимами. Начались реабилитации, и погибших реабилитировали посмертно...

Правда, слово "еврей" было как-то не в чести. На дворе бушевала оттепель. Еще партийцы, сделавшие карьеру, говорили партийцам, вернувшимся из лагерей: да, прошли страшные времена! Еще пели лагерные песни на вечеринках — и уже писали о лагерях, с робкой надеждой: а вдруг напечатают? Еще профессора говорили своим вернувшимся с Воркуты аспирантам: вы, небось, думаете, что самое страшное было там?

Не-ет, самое страшное было здесь! И аспиранты соглашались — они понимали.

Взаимопонимание воцарилось вокруг. Свидетели обвинения протягивали руку тем, против кого они свидетельствовали — и те принимали. "Простите их, — говорили вернувшимся. — Простите их, по-христиански". Те соглашались, потому что понимали. Все все понимали. А уж евреи-то понимали лучше всех. И прощали, по-христиански. Раз уж наступило такое взаимопонимание, то, стало быть, все равны, и несть ни эллина, ни иудея. Прошли, прошли, прошли страшные времена. А если кто из новых друзей и не любит евреев — то это его дело. Почему он должен их непременно любить? *Его* можно понять.

Растворялись, сливались, готовились служить верно и нелицеприятно — при чем тут еврейство, мы воспитаны на Пушкине, мы прошли такие годы вместе, мы вместе дрожали в наших коммунальных квартирах, мы вместе валили лес в тайге, мы вместе...

Дорогой профессор Коган,
Знаменитый врач,
Ты обижен, ты растроган,
Но теперь не плачь.
Потрепали ваши нервы,
Доктора наук,
Из-за суки, из-за стервы
Лидки Тимашук.

В конце концов, может, даже она, Тимашук, не так уж виновата? Тимашук-Чеберяк, Чеберяшечка... Все он, все Сталин, параноик, культ личности!

Как мы любим понимать! Понимаем Гоголя (как Янкель понимал Тараса Бульбу), понимаем Тургенева, понимаем Чехова. Понимаем Булга-

кова, понимаем Хемингуэя ("ах, Брет! ах, то-реадоры!"), который на заре тридцатых годов вошел в славу, объяснив восхищенному читателю, что не любит он еврея Кона просто потому, что он такой — не любит, и баста!

А в пятидесятые годы — о, какой это был разгул понимания. Теперь, когда они сами сказали, что больше это повториться не может! Теперь, когда все началось-то с дела врачей — весь откат! Теперь, когда Никита во всеуслышание произнес...

Нас ведь позвали, позвали обратно! В университеты, в научно-исследовательские институты, в литературу! И мы пошли, не помня зла, воздавать за благо, не пошли — кинулись, и не только за твердой зарплатой, но и потому, что можно стало — отдавать! Мы как все!

С Венгрии пошел раскол. "Эдак все полетит!" — говорили они. — "Вот и хорошо. Зачем нам колониальная империя!" — "Но ведь страшно!" — "Не страшно — хорошо!" — "Вы что — нельзя раскачивать! Для интеллигенции это самое опасное! Нельзя подрубать сук, на котором сидишь!"

Танки решили споры. Югославы продали Имре Надя. (О Югославии тоже спорили: надо ли было Хрущеву им кланяться? "Может, и надо было, но не так низко!" Другие рассказывали, захлебываясь, про югославский социализм: совершенно не такой, рабочие участвуют в прибылях, и нет колхозов; "с человеческим лицом" еще тогда не говорили.) "Это ужасно, но иначе нельзя", — говорили защитники империи. Другие замолчали, перестали читать газеты, выключали радио сразу после утренней зарядки.

И тут грянул Суэц. Английская империя тоже не хотела распадаться до конца; французы с ней стакнулись. Но все громаы метались против израильских агрессоров. Они — агрессоры — ре-

шили захватить канал. Бен-Гурион объяснял, что арабы нападают на еврейских земледельцев: в "Известиях" напечатали "землевладельцев". В тех же "Известиях" печатали списки добровольцев, которые хоть сейчас готовы были дать ума агрессору, и в первом же списке была фамилия "Жидоморов".

Нет-нет, это Израиль, мы не они, они не мы... Это совсем другие люди (блондины и полубоги?), это те наши родственники, которые уехали когда-то, о которых мы не пишем ни в каких анкетах, потому что — какие же это родственники, ведь не прямые. О нет, о нет, это совсем другие люди, все говорят, что другие, вон даже та женщина в пересыльной тюрьме. Что мы знаем про ту землю? Только то, что там посадили эвкалипты — шесть миллионов деревьев.

Земля моих отцов, земля чужая,
Сожженная неумолимым солнцем,
Иссохшая и красная земля!
У моря там сажают эвкалипты,
И каждый саженец напомнить должен
О тех, чьи имена нам неизвестны,
Но чья известна страшная судьба...

Так ли? Неизвестны? А моя бабушка, что осталась в Харькове? Спасались юмором. Кто-то сложил песню (не Алешковский ли?):

На Синайском том полуострове,
Где лежит государство Израиль,
Положение очень острое,
Потому что воинственный край...

И дальше — про любовь:

А она была египтяночка,
А он был израильский солдат.

Песня заканчивалась мажорно:

Мы хотим любить египтяночек,
А агрессии мы не хотим!

Нет, мы все еще хотели быть как все. Только этого, про израильского агрессора мы не хотели понимать.

— Знаете, — говорит сефард, — я тоже много ездил. По делам мне приходилось бывать даже в скандинавских странах. И скажу вам правду: нигде бы я не хотел жить, кроме Франции.

— Да, во Франции евреям хорошо. Может быть, слишком хорошо. Так не может продолжаться.

— Ну, что вы! Евреи столько сделали для Франции!

— Евреи и арабы создали Испанию — и чем это кончилось?

— Ну разве можно сравнивать! Когда-а это было!

— Вы думаете, для Германии они мало сделали? Или для Польши? Для России?

Я плохо помню тот барак, хотя и прожила в нем около года. Где была печка, около которой мы в ту ночь сидели с Таней? Мы разговаривали очень тихо, чтобы не мешать другим, — но все-таки мы не шептались, мы разговаривали, значит печка была как-то удалена... Не могу вспомнить!

Мы разговаривали в первый и в последний раз в жизни и так и понимали этот разговор. На утро был назначен этап; обычно это делалось совсекретно, но почему-то на этот раз было допущено исключение. Как учили нас старые лагерники: не ищите логики. В этап была назначена и Таня: у нее был "срок" двадцать пять лет. В этом не было бы ничего примечательного

-- у нас двадцатипятилетников была целая бригада — но Таня получила свой срок не в сорок девятом, когда все, а гораздо раньше — чуть ли не в сорок пятом, когда давали десятку или расстрел. Родом она была из города Сальска. В лагере считалась монашкой. Монашки не работали по воскресеньям (за это считались отказчиками и сидели в карцере), молились (отдельно от них — и обязательно на коленях — молились еще "почекайки", западные украинки), занимались рукоделием, читали украдкой Евангелие (как-то оно приплывало в зону, сквозь запреты и запретки), не зубоскалили, соблюдали посты(!), носили длинные юбки, платочки, не смешивались с остальными.

А Таня и вовсе ни с кем не смешивалась; ее нельзя было не заметить. В толпе она выделялась ростом — ну ладно, рост, это понятно. Но вот мы все сидим на земле за зоной, ждем, когда придет за нами машина везти на дальнее поле, — и опять я смотрю на Таню: сидит, длинные ноги подогнула, натянула на них юбку, склонила голову к плечу, руки на коленях сложены, глаза опущены. Или сидит у себя на верхних нарах, ковыряет что-то иголкой, лица почти не видно, ситцевый платочек под подбородком подвязан... Или чешет гребнем волосы...

Художница, которая ее украдкой рисовала, объяснила, в чем дело:

— В ней есть покой.

Потом сказала:

— Знаете, когда она приехала, не такая была. Мазала губы, ходила в короткой юбке, кокетничала... Это потом она стала монашкой. Уверовала, должно быть.

Даже в ту ночь перед этапом она не казалась удрученной, или суетливой, или хоть озабоченной.

Я ей сказала, что всегда на нее смотрю и удивляюсь, откуда в ней этот покой. Она ответила:

— Я тоже на вас смотрю иногда. И думаю: а когда же она бывает спокойна, эта женщина? Хоть во сне-то она успокаивается ли?

В ту ночь она рассказала мне свое "дело". В лагере о "делах" говорят не часто: выговорились в общей камере, на пересылках.

Она работала в газете в этом своем Сальске. И был там журналист, еврей, по фамилии, кажется, Зальцман. Таня не была журналисткой — "далеко мне было до этого", — просто перепечатывала приказы, статьи. Зальцман этот только ей свои статьи давал печатать: "Он вообще ко мне хорошо относился. Добрый такой, скромный был человек, семья у него была, жена, девочка". Так все и шло до войны.

Осенью сорок второго в Сальск вошли немцы. "И вот накануне того дня, как немцам войти, этот Зальцман ко мне пришел. Он редко ко мне приходил, я ему всегда прямо там, на работе печатала; у меня дома и машинки не было. Я ведь до газеты учительницей была, потом пошла на курсы машинописи.

Он был такой растерянный, Зальцман. Говорил, что не знает, как ему быть, уезжать, не уезжать. Жену и дочь он раньше отправил, а сам не то не успел уехать, не то сомневался. Потом сказал мне, что, наверное, все-таки уедет сегодня вечером: какая-то машина должна прийти...

Но вот что я вам говорю — правда: не просил он меня его спрятать, да и в голову мне такое прийти не могло. Я помню только растерянность его... Больше я его не видела.

При немцах я статью написала, в газете нашей напечатали. Про то, как все у нас было. Тогда многие писали.

А потом, когда опять наши в Сальск вошли,

меня посадили. И я понимала, за что. За статью. Хотя я и не своей фамилией подписалась, но готова была, что они узнают. У них ведь своя агентура оставалась. Свои люди.

Следователь когда меня спросил про статью, я даже отказываться не стала, потому что была готова.

Почему я не ушла? Как раньше с нашими не ушла, так потом и с немцами: мать у меня была больная, куда же я от нее пойду?

Следователь мой был еврей. Он на меня все смотрел, с такой, знаете, ненавистью... Ну, я его понимала: конечно, мы тогда еще не знали всего, что немцы с евреями делали, но и того, что знали, хватало. Конечно, его можно было понять.

И вдруг он говорит:

— Расскажите-ка лучше, как вы Зальцмана немцам выдали!

А я даже сначала не поняла, про что он говорит:

— Какого Зальцмана? — спрашиваю.

А он тут стукнул по столу и:

— Не притворяйтесь!

Ну, вот. Я говорила ему все, что вам. Рассказала, как Зальцман пришел ко мне, не скрыла. Но он откуда-то и свидетелей раздобыл. Дали мне сначала расстрел. Я в камере смертников сидела. Потом заменили двадцатью пятью годами.

Вот такое мое дело. Никогда я этого Зальцмана не выдавала. Статью писала, это правда, я и не скрывала. Но Зальцмана я больше не видала никогда. И что его немцы убили — только от этого самого следователя и слышала.

Я никогда против евреев ничего не имела. Но вот скажите мне: почему у них такая судьба? Я ведь немного историю знаю. Как их гоняли

из страны в страну. Из Испании как их гнали. Почему это так, есть у вас объяснение? Вот они и делают много хорошего — врачей сколько евреев, профессоров... И в Испании так было. Не все же они были банкиры, тогда тоже были еврей-врачи, и ремесленники всякие, говорят, даже писатели.

Но вот — изгнали их. Вы знаете, вы читали, извините, конечно, но так называется, "Вечный Жид"?

Как вы это понимаете?

Я не помню, что отвечала — ведь своих слов никогда не помнишь. Но рассказ ее, но вопросы запомнила крепко — и не раз отвечала ей потом, мысленно.

Кстати, на этот этап она не попала. Почему — неизвестно. Опять-таки — не ищите логики. Вместо нее уехала девочка-корейка, которая имела десятилетний срок за участие в антисоветской организации "Союз Друзей Свободы".

По-прежнему мы жили в одном бараке, по-прежнему я видела, как она читает, как ходит босиком. Но больше мы никогда не разговаривали.

После смерти Сталина начались внезапные освобождения. Я оказалась пятая по счету — это было в июле пятьдесят четвертого. А еще через год вернулась в Ленинград та самая художница, которая объясняла мне про "покой".

— Помните Таню? Вы бы ее сейчас не узнали. Она связалась с сектантами, все волнуется, спорит, даже ходит по-другому, как-то лбом вперед...

Но такой я ее уже не видела.

Правда ли то, что она рассказала мне про Зальцмана, или окаменевшая легенда, рассказанная следователю, в которую она, в конце концов, поверила сама? Не знаю. Теперь не знаю, а тогда

мне хотелось понимать и верить. Ведь у нас была одна судьба.

— Как вообще живется евреям в России? — спрашивает сефард. — Ужасно, да? Дело Шаранского — это... это...

— А как вам жилось? — спрашивает голландец. — Вы, вероятно, были хорошо устроены?

— Пожалуй — да.

— Но все-таки уехали.

— Да, все-таки уехали.

В глазах его — понимание. В глазах сефарда — вопрос: почему?

(“ ‘Вечный Жид’, извините, — говорила Таня. — Как вы это понимаете?”)

— И квартира у вас была? — спрашивает Малка, которая родилась в Ираке. — И телевизия? И все-таки уехали?

Последние слова Пушкина были:

— Кончена жизнь. Тяжело дышать, давит...

Мы все знали это чувство, потому что наша жизнь в России кончалась.

Внезапно наступившее удушье почувствовали многие, среди них прекрасно устроенные. О нем то и дело говорят в интервью для радио и газет новые эмигранты и репатрианты.

Вероятно, в этом чувстве сказалась та самая пресловутая народная память.

Не это ли чувство испытывали наши пращуры в Испании пятнадцатого века, когда все колебалось и реальность перестала быть реальностью; и те, в Египте, у которых горшки с мясом так и остались томиться на огне. Пришло время, пора! Одних выгнали, другие ушли сами, одни были рабами, другие — банкирами. Ни те, ни другие не хотели уходить, но — ушли. Не могли не уйти.

Потому что историческая роль была сыграна. Мавр сделал свое дело.

Мы говорим: ради детей! Значит, чувствуем сами, не говоря словами или называя это по-другому, что — пора, дело сделано, роль сыграна. Мы говорим самодовольно: Египту мы дали Иосифа, Польше Мицкевича, Испании... ну, скажем, литературу "новых христиан".

Только надо помнить, что не было бы Иосифа без Египта, и Мицкевича без Польши, и Дон-Кихота без Испании.

Потому что сами по себе дрожжи теста не дадут.

Поклонимся России за двухсотлетний приют. Она дала нам лучшее, что у нее было: русский язык. И мы расплатились с ней как могли. Мы дали ей своих "острых и беспокойных" бунтовщиков, угрюмых фанатиков и веселых праведников — от Троцкого до Фриды Вигдоровой. Больше перечислять нечего, все заключено между этими крайностями. И все, нам пора, не стоит нас удерживать, нам пора, пора, пора...

Как твердили (или, может быть, пели), те, кого еще удерживали в Испании:

Да смягчит (Господь) сердце фараона Испанского,
Вопреки ему, путь нам проложит средь моря...

В Киеве, в Лавре, старуха-богомолка сказала задумчиво:

— А скоро и конец света.

— Почему, бабушка?

— А как же? Евреи-то все в Иерусалиме собираются!

Ну, положим, не все. Немало их еще несут молодым нациям свой старый, свой вечный заквас.

Пригодится ли он здесь, дома?

Вот мы и подъезжаем. Следующая остановка — Пуатье. Жан обещал нас встретить. Надо

же — Пуатье! Никогда не думала, что увижу Пуатье.

— Осматривать замки Луары? — улыбается голландец.

— Да, и Пуатье и, может быть, даже Ла Рошель.

— Прекрасно. Было очень приятно.

— Очень приятно. До свидания. До свидания.

Поезд останавливается. Он стоит тут недолго. Нам пора.

1979, февраль.

ШЕЛКОВЫЕ ЧУЛКИ

В тридцать третьем году я кончала семилетку; страна перешла из третьего решающего в четвертый — завершающий — первой своей пятилетки; мой отец завершал третий год своей ссылки в Новосибирск... К выпускному вечеру я написала стихи (пусть простит мне ленинградская муза, что я так их называю) про пятилетку, я знала, что она будет выполнена в четыре года, а про то, что мой отец — ссыльный, не знала ничего. Ссылка была какая-то мягкая: он там работал начальником снабжения и по тамошним делам приезжал в Одессу. Приезжал через Москву и оттуда привозил давно исчезнувшие у нас в городе чудеса: булочки (серые, но очень вкусные), целые носки (Остап Бендер полагал их принадлежностью миллионеров), общие тетради в черных клеенчатых переплетах и однажды привез чулки — маме и мне. Не такие, которые все еще хранились у мамы в узле, хоть и порванные — на всякий случай. Они хранились со сказочных времен нэпа и понятно было, что больше таких уже никогда не будет — какие-то фильдеперсовые, про которые старые книжки не знали, они знали только шелковые, и каких-то цветов, исчезнувших, как тень зари, и такой же плотности... Нет, те, что привез папа, были кирпичного цвета. Кажется, он тоже когда-то был в

моде; во всяком случае, в знаменитом нэповском романсе поется "подари золотой портсигар и чулочки кирпичного цвета". У автора романса, Людмилы Поповой, они были "телесного цвета"; но мода потребовала перемен.

Это чудный романс и, ах, если бы видели автора! Но, как пишет Довлатов, мы отвлеклись.

Так вот, они были кирпичного цвета, посверкивали, как жестяная стружка, и их не страшно было взять в руки; про те, прежние, казалось, что они растают, или, во всяком случае, расползутся. А это были, как бы то ни было, мои лично, мне подаренные; они блестели как шелковые, и, по-моему, очень украшали мои ноги, о которых я была самого лучшего мнения.

Несколько лет спустя я прочла у Юрия Германа про круглые колени "в дешевых блескучих чулках" и чуть-чуть обиделась — за свое прошлое да и за настоящее. Мы носили вискозу до самой войны. Чулки, платья, рубахи мужские из вискозы. И радовались ее блеску.

Надеваешь эти чулки — а они чуть-чуть покалывают пальцы. Словно сотканы из крапивы, как накидки диких лебедей. Ведь вискоза — не штапель, что сменил ее целую эпоху спустя: тот не кололся. Штапель в нашем советском представлении, навсегда связан с пятьдесят четвертым годом, с Маленковым, который решил развивать легкую промышленность. Тут уж ничего не поделаешь: нам так крепко когда-то вдолбили, что мы живем в неповторимо-историческую эпоху, что мы и поверили, и стали запоминать. Так вискоза разматывается в тридцатые годы, словно и не вискоза это, а самый что ни на есть натуральный, от тутового червя, шелк.

И вот — один из моих чулок пополз. Спустилась петля. Событие, равное по значению

— чему? Даже не знаю, с чем сравнить. Не катастрофа, но что-то приближающееся. Были средства: немедленно смочить концы дорожки — можно слюной, а лучше мылом; тогда не пойдет дальше. Не знаю, может, кому-нибудь эти средства помогали; мне — нет. О том, чтобы выйти "в таком виде" нечего было и думать. Не говоря уже о том, что по дороге двадцать семь доброжелательниц подойдут: "Девушка, у вас спустился чулок".

Сейчас вспомнить забавно. Но, кстати, мы очень удивились, когда наша знакомая, вернувшись из Италии, рассказывала: "Между прочим, там никто не обращает внимания, если чулок спустился. Идут себе, как ни в чем не бывало". Из всех ее рассказов мне это "между прочим" лучше всего запомнилось. Было это, думаю, уже в начале семидесятых. Уже всю шел "застой".

Но вернемся в эпоху энтузиазма, в Одессу тридцать третьего года. Была весна, мне было четырнадцать лет и от старших подруг я знала, что очень важно хорошо одеваться, хотя не очень понимала, что это такое, и чулки должны были быть первым моим шагом в этом заманчивом направлении. И вот — стрелка.

И тут я увидела объявление, от руки... Где? Не помню. Не на нашей улице, это точно. Где-то в Колодезном переулке. На заборе. Тогда в Одессе было много заборов: их сооружали вокруг строящихся — а точнее разрушающихся — домов, и они стояли годами. В объявлении было написано: "Поднимаю петли на чулках". И адрес. Там же, в Колодезном переулке.

И цена. Нет, цены не было. Но у меня были деньги. Очень немного, но были — я заработала, аккомпанировала спорткружку. Это меня туда моя более взрослая подруга устроила, на месяц.

И, по-моему, это был один из очень немногих случаев, когда мне заплатили.

Ладно, главное — у меня были деньги, и я понимала, что поднять петлю будет стоить немного. Откуда-то я даже знала, сколько. Что-то около 90 копеек. А может быть 1 рубль 14 копеек. Сидит откуда-то эта цифра. Может — с более поздних времен. Когда обобществили и это производство, и девушка, принимавшая заказы, мерила петлю линеечкой: 5 см — одна цена, 10 — другая. Но тогда этого еще не было.

И я пошла по адресу, очень счастливая, очень гордая; потому что я такая самостоятельная; потому что чулки приведут в порядок; потому что я — как дама. Как из книжки. Я думала о себе в третьем лице: "И вот она, в своем изящном кафе-о-ле, облежавшем ее стройный стан". Дальше обрывалось, потому что в книжках как-то не было слова "пальто", а мое цвета кафе-о-ле (это одесский такой цвет, как и фрезový, потом в других городах я этих цветов не встречала) было именно пальто, и даже — пальтишко, вельветовое, с роговыми пуговицами и пряжкой. Роговые! Они блестели, и в глубине там была переливающаяся темнота. И вот, во всей своей торжествующей красе, блистая пуговицами и пряжкой, я позвонила в подвальную дверь.

Я видела подвалы, в них жили вполне нормальные люди, и в нашем доме тоже, и моя подруга детства, Тата Попова, и там было чисто, и пахло чисто, и в окошки смотреть было интересно — и снизу, и с улицы. Но этот подвал показался мне таким страшным, что я помню его до сих пор. Он был очень темный, на улице было апрельское солнце, а тут была голая тусклая лампочка на длинном шнуре и то, что она освещала — лучше бы она и не освещала. Детская кровать у стены с

порванной сеткой, и, наверное, от нее шел запах нестираных пеленок, а ребенок был на руках у матери, и плакал, нудно, а иногда вскрикивал: у него, наверное, болело ушко, у детей это часто, и была еще одна женщина, старая и грузная, а та, мать, была молодая, т. е. более или менее молодая, и какая-то полуодетая, или полураздетая, и смотреть на нее не хотелось, хотя она не была некрасивой — помню выющиеся темные волосы и узкое лицо — но выражение этого лица... Это и было, наверное, то, из-за чего не хотелось смотреть: там было и презрение, и ирония, и отвращение, и брезгливость... Ко мне, к толстой старухе — матери ее, наверное, или свекрови, и вообще ко всему миру, который загнал ее в этот подвал и вынудил зарабатывать... Старуха как будто еще хотела произвести приятное впечатление, она была похожа на лавочницу, она как бы помнила, что с заказчиком надо быть приветливой — она натянула мой чулок на руку, покачала головой, причмокнула уважительно:

— Хорошие чулки!

Дочь презрительно хмыкнула:

— Обыкновенные!

Я выглядела старше своих лет, чем я, конечно, гордилась, а в свете этой лампочки, может, казалась и совсем взрослой. И она показывала мне, что она знает, что такое чулки, и что такое хорошие чулки, и что она ничуть не ниже меня, хотя и должна на меня работать (по-моему, тогда еще не говорили "обслуживать"). А главное — она меня ненавидела, я ей была противна, я это не то, что чувствовала — я это слышала отчетливо, словесно. И мне было отчаянно стыдно, только я не понимала, чего стыжусь, в конце концов она же написала то объявление, по которому я пришла.

— Когда можно зайти? — спросила я, очень взросло.

— Завтра! — сказала старуха.

Молодая бросила ей уничтожающий взгляд, а мне, уже и вовсе не глядя:

— Послезавтра!

Помню, когда я оттуда вышла, я встряхнулась — как собака после купанья. И вызвала в себе разные приятные чувства — вот, сделала то, что нужно, отдала в починку (у нас дома в случае такой необходимости велись долгие, чуть не ежедневные разговоры — обычно ничем не кончавшиеся — денег не было!), и на свои деньги, и вот теперь у меня опять пара чулок будет... Уже послезавтра.

А послезавтра я пошла туда не одна — я словно боялась. Пошла с моей подругой Милкой. Дома была только старуха.

— Она пошла с ребенком к доктору, — говорила старуха. — Вот ваша работа, готова. Очень хорошо все сделано, чисто. Спасибо, я отдам, они, наверное, скоро придут. Тут осторожно по лестнице... Вас никто не спрашивал, к кому вы идете? А то, знаете, соседи тут такие... Знаете, фининспектор...

Фининспектор!

Мы ушли. Когда мы вышли на улицу, Милка, которая жила в одной комнате с мамой и бабушкой, на мамину счетоводческую зарплату, сказала: ухxxx!

И больше ничего.

На дворе был тридцать третий год, и все, как у писателя Белова, было впереди: и великие чистки, и высылки нацменьшинств, и новый тур войн и пролетарских революций. Эта семья — мать, дочь, ребенок — кто они были? Где был их мужчина? В тюрьме? В Котласе, куда высылали лавочников и бывших нэпманов? Или просто — ушел к другой и не платил алиментов? Или умер, наконец, — и это ведь могло быть?

А где она, эта молодая женщина, научилась поднимать петли?

Через несколько лет — я часто проживала этот эпизод в памяти — я ей говорила, чтобы отстало это ненужное и мучительное воспоминание: да я ведь тоже... я не то, что вы думаете, у меня папа только что освободился, у нас тоже все это было.

И все равно, и тогда, и потом понимала: так, да не так. Ведь не зря стыдно было, тут себе не продикуешь. На эти минуты я была богатая заказчица, тут и правда повторялась какая-то ситуация, сцена из книжек девятнадцатого века, и я была виноватая без вины, но все равно виноватая, и в классовом смысле я была буржуйка, на полчаса; но, кажется, главное было не в том, что у меня были девяносто копеек, чтобы заплатить; кажется, тут была моя радость жизни против смертельного глухого отчаяния, и декорация все это подчеркнула и твердо поставила по местам: подвал, голая лампочка, голые стены и вскрикивающий ребенок на материнской руке, и мои ужаснувшиеся и беспомощные четырнадцать лет. И тут — чем поможешь? Любовью? Разве что. А где ее взять? Она так скупо пролита в мире...

”ВСЕ ОБЕТЫ”

Недавно я слышала по радио интервью с молодым хаззаном¹, родом из Ташкента.

И поняла: пришла пора вспомнить то, что я откладывала и откладывала в заветный ящик, где мои ”вишни Японии”. У каждого из нас этих вишен полные овощехранилища.

Речь пойдет об одесской семье — Милка, ее мать и ее дедушка.

Такая семья. Их немало было в двадцатые и тридцатые годы. Мужчин выбивало — и войны, и разводы, и аресты, поскольку не сразу догадались сажать вместе с мужчиной и его половину.

Милка жила в угловом одноэтажном домике на той же улице, куда выходили окна нашего большого, красивого, высокого четырехэтажного дома. На Преображенской. Теперь это улица Советской Армии. По этой широкой улице мы с Милкой, ученицы шестого ”б”, ходили и ходили, провожая друг друга. Милка была одна из тех, кого невзлюбила моя мама. Вот мы и ходили по улицам, потому что к себе Милка не звала меня долго. Когда же наконец она меня позвала, то я это восприняла как честь. И мне даже в голову не пришло, — по-моему, только сейчас и пришло, — что она стеснялась своего жилья: одна комната на троих и уборная во дворе.

Милка была старше меня. Ей уже давно испол-

нилось тринадцать. Она была очень маленького роста — меньше ста пятидесяти, очень смуглая, с очень светлыми волосами и глазами. К тому же она пела.

Правда, ее голос нам казался странным: низкий, без всякой серебристости, какой-то взрослый. Учительница пения к ней прислушивалась, но ничего не говорила похвального (сразу записала во вторые голоса, а для них у нас сольных партий не было). Но у Милки был свой репертуар. Она заставляла меня подбирать на пианино — по нотам я плохо умела. Предыдущая моя подруга, у которой были старшие сестры, владела репертуаром эпохи нэпа; у Милки же сестер не было, только мама.

Сколько лет могло быть Милкиной маме? Она была повыше Милки и, пожалуй, стройнее; голова у нее была маленькая, "бубекопф", как это тогда называлось (моды в Советский Союз шли из Германии) — очень короткая мальчишеская стрижка с косой челкой. Карие круглые глаза, высокие скулы, прямой короткий нос. Если бы не увядшая кожа — казалась бы чем-то вроде нашей вожатой (вожатые у нас были из техникума). С нами, Милкиными подругами, держала себя так, словно она — одна из нас: была в курсе всех дел, советовала, рассказывала сама...

Мне не были интересны ее рассказы, ее советы и разговоры; мне все в ней казалось неуместным, даже внешность. Я предпочитала свою собственную мать, высокую и надменную, которая никогда никого участливо не расспрашивала и беспощадно браковала подряд всех моих подруг, но уж если о ком скажет "кажется, хорошая девочка" — это был праздник. А Милкина мама... Мне все казалось, что она притворяется, что не могут ей быть интересны наши дела. И зачем она все время между нами, как какая-то старая девочка?

— У Милочки голос, — говорила она. — И у меня был голос. Я его прокурила, прокричала.

Она смеялась. Зубы у нее были не белые, как у Милки, а коричневатые, прокуренные. И цвет лица такой же, а кожа пористая... Когда девочки говорили: "Милкина мама хорошенькая", я не спорила — удивлялась про себя.

— Сегодня натошак обедалась Маяковским! — объявляла нам она.

Мне казалось — они никогда не обедали, хотя примус в комнате был. И еще в той их единственной комнате был большой стол, но, по моему, никто никогда за столом не ел: за столом сидел дедушка.

Дедушка никогда ни с кем не разговаривал. И с ним не разговаривали. Милкина мама иногда спрашивала его: папа, будешь кушать? И он бурчал что-то отрицательное и уходил. Как-то раз я видела, как он, сидя в углу, ест хлеб с солью... Видел ли он меня, видел ли он других Милкиных друзей?

У него был свой собственный гость — один, за все время, что я туда ходила, — один. Высокий, худой, с длинной шеей; он входил и разматывал с шеи узкое темное кашне. Кашне! Одно из забытых слов. Потом говорили "шарфик", потом, кажется, этот невыносимый для русского уха суффикс исчез, и стали говорить "шарф". Так вот, он разматывал кашне, или шарфик, и вежливо здоровался, никого не видя, кроме дедушки, а дедушка ему улыбался и что-то говорил — я не разбирала его еврейскую речь, я понимала только, если было похоже на немецкий.

Так вот, он говорил, и тот ему отвечал. Несколько минут длилось немое кино: разматывание шарфика, потирание замерзших, покрасневших, очень больших и костлявых рук — в Одессе зимой ветры злые, секущие, и мы,

терявшие последние перчатки — новых было не купить! — вечно ходили с отмороженными руками. И недолгий разговор, и опять дедушкина улыбка; потом этот длинный наконец засовывает свое кашне в карман брюк, садится за стол и разворачивает пакет, который он принес с собой: там, похоже, ноты. И тут немое кино кончалось и начиналось пение, вернее — напевание.

Молодой заунывно напевал, а дедушка гудел согласно, в лад ему. Иногда дедушка обрывал гудение, и молодой замолкал сразу и слушал почтительно — дедушка что-то говорил, очень коротко, и сам хотел, вероятно, пропеть, но не мог, а что-то гудел, как шмель, для меня совершенно невнятно, но тот понимал, кивал и повторял, и дедушка не перебивал его больше.

А мы с Милкой в это время негромко разговаривали о своем, забравшись с ногами на ее топчан. От нее я, кажется, и услышала впервые это слово — топчан. У нас дома были диваны, была тахта, были кровати — топчанов не было. И вот, мы сидим с ней на ее топчане и разговариваем, негромко, но не шепотом, потому что ни мы им, ни они нам не мешают; между нами условная стена взаимного уважительного невнимания. Я, во всяком случае, совершенно уверена, что молодой с той минуты, как, размотав шарфик, усаживался за стол, уже нас не видел; про дедушку ничего сказать не могу — думаю, что он не видел меня вообще никогда. Да и мы... Но все-таки, хоть я и не смотрела, и не понимала, и не спрашивала, — я сохранила под веками, в этом своем прочном полудетском компьютере, их обоих за вечно пустым обеденным столом.

И ведь я и в самом деле ни разу не спросила, кто это приходит. Это была сторона взрослой жизни, о которой не говорят. Собственно, в первый раз, когда он появился, я посмотрела на

Милку вопросительно и в ответ получила пренебрежительный жест — так, мол, не обращай внимания. И я не обращала. Не обращала и ни разу, никогда, нигде не заикнулась об этом — не то что в школе или подругам, но даже дома. Не потому, что боялась, как бы эта черточка не повредила Милке эстетически (потому что и дедушка, и его посетитель со своим шарфиком, и их заунывное, в четверть голоса пение ощущалось как безобразное, смешное и немного постыдное) — а я Милкой от всей души восхищалась и хотела, чтобы все это восхищение разделяли; нет, причина тут была другая. Политическая. Не могла же я, например, встать на уроке обществоведения и сказать: а моя няня говорит: "Николай был пьяница, а при нем все пили и ели; а теперешние, хоть и не пьют, но..."

Но я бывала тогда у Милки каждый день — и почти каждый день приходил тот длинный, молодой... Это продолжалось до весны — потом прервалось на некоторое время, а летом он опять появился, все в том же шарфике, но уже без пальто. И — сейчас вспомнила — летом он вынимал из кармана какую-то тубетейку и надевал ее на голову, прежде чем начинал петь. Зимой он без этого обходился — просто не снимал шапки. И пел совсем уже еле-еле, потому что окно, единственное их окно, было открыто — стояла жара. Но у меня не было к нему никакого любопытства.

И вдруг однажды, когда мы с Милкой говорили о чем-то важном... Да, это было летом — я помню точно загорелые коричневые руки Милкиной мамы. Но окно почему-то закрыли. В общем, вдруг, когда мы с Милкой, ни на кого не обращая внимания, шептались, Милкина мама вдруг сказала отцу что-то по-еврейски, резко, внезапно: перебила пение, с ходу, и подошла

к ним и коротко пропела — продышала что-то сама, глухим, оглохшим от табака голосом, но, наверное, как-то очень верно, потому что дедушка сразу стал серьезным, остановил ее рукой, к чему-то в себе прислушался, и вдруг закивал, и молодому что-то сказал согласное. Молодой пожал плечами, выразил на лице: я так не думаю, но если вы настаиваете... задал вопрос Милкиной маме, закинул голову так, что я увидела его заходивший кадык, и залился.

Он сразу залился на огромной, показалось мне, высоте, не подбираясь, не подползая, не меряя силы, которую он сдерживал и подавлял столько часов, столько дней и ночей. Мог ли он хоть дома петь во весь голос, во всю душу? Или и там должен был держать за лапы огромную серебряную птицу, которая с такой силой вырвалась и стала когтить наши сердца и нежно зализывать раны — все сразу. А потом словно забила крыльями, рванулась выше, сужая круги, что-то рассыпая — и сорвалась...

Я потом, много лет спустя, когда у Мандельштама прочла "Божье имя, как большая птица...", — увидела то белое горло с полощущейся в нем мелодией; именно птица привиделась мне тогда, и что она серебряная — тоже. Милка посмотрела на мать и сказала: пусть он еще поет. Мать ответила: он не будет, он только показал. В чем дело? Он осенью будет петь в синагоге, можете пойти послушать.

Я подобралась на топчане к окну и поглядела на улицу: там, задрав головы, стояли люди, пять или шесть человек. Голос вырвался из комнаты только на минуту, и вот, уже...

— У вас же оперный голос! Оперный! Вам же надо учиться! — авторитетно, несмотря на волнение, кричали мы.

Он скорбно, с каким-то сожалением посмотрел на нас и мимо нас и сказал:

— Спасибо.

Дедушка поглядывал на него усмехаясь, и он ему в ответ точно так же усмехнулся. И ушел.

— Мама, ты откуда знаешь этот мотив? — спросила Милка.

— Это же "Кол нидрей"², — сказала мать. — Ну, молитва такая — "Все обеты". В Судный день³ ее поют в синагоге.

Оперный голос! Я не очень понимала, что это такое — я это слово ощущала как эпитет. "И подумать, — говорила я, — что же это такое? Ведь он должен идти учиться, его бы взяли в консерваторию, а он тут". Милка, безусловно, со мной соглашалась. И Милкина мама тоже.

— Дикие люди, — говорила она, поджимая уголки губ так, что под скулами появлялись ямочки. — Для них как будто не было революции. Вы думаете, он один такой, этот молодой человек? Да их полно теперь в Одессе. Я уже не говорю — где-нибудь в Балте или в Тульчине. Этот как раз приехал из Тульчина. Приехал в большой город. Ну, так иди учиться, раз у тебя с социальным происхождением в порядке. Так нет же. Отыскал себе старика и учится у него вот этому хаззану. Ну, хаззаном чтобы быть в синагоге. Хм! Хаззан! Не знаешь, что это такое? Это как певчий. Так сказать, солист. Кантор.

— Вот кантор — это слово я слышала.

— Ну, слава Богу, хоть это слово ты слышала. Что вам сказать, девочки, мне его даже не жалко, этого парня. Раз он вырос таким слепым и глухим, не видит, что жизнь теперь другая... Синагога! Да их почти все позакрывали. Да и кому они нужны? Ты была хоть раз в синагоге? И Милочка никогда не была. Целое поколение подрастает, кто об этом и не слышал даже ничего.

Она сама распалялась от своих слов; мы были с ней совершенно согласны, но ей нужен был протагонист, оппонент. Она обратилась к дедушке с тирадой по-еврейски. Он ее выслушал, усмехнулся и что-то спокойно возразил. Я разобрала слово: шансонеткес. Она — в крик. Он нагнулся над книгой и отключился.

— Он говорит: лучше Бог, чем шансонетки... А я ему говорю: шансонетки — хоть живые женщины, а что твой Бог? Где?

* *

*

Я не вспоминала его никогда. Помнила — но не вспоминала. Несколько стоп-кадров: стоит у пустого стола, мнет конец длинного, перекрученного кашне; сидит за тем же столом, тесно рядом с бабушкой (седая борода, бабушкина борода сразу блеснула, когда стала вызывать этот кадр в памяти!), лицо опущено, что-то он не то бормочет, не то поет; иногда взгляд — не на нас, а в сторону и вниз. И конечно — голова запрокинута, словно он полощет горло, он стоит где-то не на обычном месте, кадык ходит... Но тут вступает другое: звучит на той же высоте памяти музыкальная фраза, рвущаяся, рвущая сердце и тут же утешающая своей — или, может быть, голоса? — красотой — в общем, то, что он пел, вспоминается, и не столько звуком, и, конечно уж, не мелодией, которой я не знаю, а сердечным спазмом, все еще внезапным. И последний, через несколько минут отразившийся, но запечатленный точно и надолго: горестно заломленные густые брови, опущенные тяжелые веки с красным ободком и покривленный угол рта — образ не то досадливого пренебрежения, не то презрительного сострада-

ния к нам. Это, когда мы, оглушенные, восхищенные (но нас я не вижу), выкликаем про голос и что надо учиться... Почему — пренебрежение к нам? Почему — никакой радости, никакой, хоть подавленной, улыбки перед нашим восторгом? Гордыня? Или смирение? Ну да, смирение! Сверху вниз он на нас смотрел, когда не смотрел в сторону!

Может быть, потому-то я и не вспоминала его — из-за этого скорбно-презрительного выражения. Моя сознательная память хранит и лелеет приятные воспоминания. Потому-то это и оставила; уничтожить не смогла — но оставила, оставила под спудом.

Вспомнила его я только недавно, только теперь, в Иерусалиме, после радиоинтервью с хаззаном, который приехал недавно из Ташкента.

”Искусство? — удивлялся он — Тут хасидская⁴ душа нужна и знание стиля. Слово песню ограничивает; когда песня поставлена на слова — она меньше значит, меньше стоит. Можно и импровизировать — почему нет? Но, конечно, есть мелодии — ”Кол нидрей”, например, и еще несколько — тут импровизировать нельзя: они передаются из поколения в поколение без изменений”.

И я вспомнила.

Та фраза! Из ”Кол нидрей”. Уже я знала: это не молитва, а ”формула отказа”, отказа от всех навязанных обетов и присяг, что сложились, вероятно, в Испании, еще при вестготских королях. И там ничего нельзя менять? Значит, с тех пор передается эта мелодия из поколения в поколение? И потому Милкина мама и смогла его поправить — она помнила. И дедушка с ней сразу тогда согласился. У нее в самом деле слух был очень точный, может быть, даже абсолютный.

Вы двадцать лет прожили в России, — сказал ведущий. — Ваше время — время гитары. Почему же все пели под гитару, а вы...

— Конечно, это семья, — отвечал хаззан. — Моя семья — традиционная. И я знал... Я стремился. Но, конечно, еще не достиг... Видите, когда я был маленький, я слышал у нас в Ташкенте одного хаззана. Даже не знаю, откуда он приехал. Очень ненадолго. Я всюду бегал за ним. Он скоро уехал, не знаю куда. Тогда я стеснялся спросить, а потом некого было. И вот он... Я даже не знаю, что в нем было... Голос, наверное, "спинто", драматический тенор, как у меня, но он все мог петь, и то, что для лирического тенора, тоже... но, наверно, не только в этом дело. Он до сих пор для меня звучит. Он пел "Кол нидрей", такого "Кол нидрей" я в жизни больше не слышал. Он поет — и все на цыпочки становятся, тянутся за голосом... нет, это нельзя пересказать.

Потом, когда пошла запись пения этого ташкентца, я все ждала — не услышу ли я опять... Нет, не услышала — голос его был осторожен, мягок и не рвался очертя голову вверх, а плавал, играл на средних высотах, а я слушала и ждала: ну? ну?

Не дождалась. Ну и что ж? Из съездившегося, высохшего, омертвевшего, ставшего — чуть не ставшего — шелухой одесского дня развернулась, проявилась, зазвучала почти непрерывная, почти нигде не стертая лента воспоминания. Ученик и учитель, рядом, за одним столом, локоть в локоть, над одной книгой; они поглощены, они переводят дыхание одновременно, они делают то, ради чего родились на свет — это как любовь. У дедушки на губах что-то вроде улыбки — может, так он складывает губы для пения, а может быть, он просто счастлив своим

вернувшимся мужеством, мужеством творца, сеятеля, обретшего наконец благодатную почву, которая сохранит и взрастит его посев, сделает его жизнь не напрасной. И почва внимательна, чутка и разверста, и почва благодарна и отзывчива. Никогда больше я не видела такого полного согласия между учеником и учителем. Мне приходилось видеть загипнотизированные, замирающие от восторга студенческие аудитории — но там было другое, там был профессор-артист и публика, там не было тайного и плодородного равенства двоих.

Не мешайте мне! Я хочу думать, что тот молодой кантор, которого даже имени я не знаю, оказался однажды в Ташкенте. И это с ним долгие годы старается сравняться ташкентский певец-хасид, перед которым, в конце концов, тоже стояла дилемма: Бог или "шансонеткес".

ЧТО ВДРУГ?

Кате Зворыкиной

Когда умер Лев Толстой, бабе-Любе было сорок семь лет и давно уже была она вдовой. Дочка Нюрка подрастала, кончала гимназию, зыркала по сторонам черными, нестерпимо блестящими, как у покойного отца, глазами. Мать следила за ее гимназическими успехами, но и раввина приглашала, чтобы Нюрка не забывала, кто она есть. Раз в жаркий день Нюрка пришла домой взволнованная и сказала, что умер Лев Толстой.

— Граф Толстой? — охнула баба-Люба. Она это имя помнила с девических лет: тайком от строгого отца, часовщика, прочла "Анну Каренину". — Как же это так? Кто же остался?

— Ну, положим, есть еще писатели, — усмехнулась дочь. — Куприн, Леонид Андреев, Максим Горький, Арцыбашев... Но разве это то?

Как будто мать с ней спорила! Но начитанная!

— ...так и умер не дома. Пока в этом Енисейске узнаешь подробности — его и похоронят уже!

— Чем тебе плох Енисейск? — обиделась мать.

— Скучно! — сказала Нюрка. — В Иркутске все-таки жизнь. А здесь скучно.

— Скучно! Я в твои годы и слова этого не знала.

— А вот Лев Толстой... ему стало скучно дома, и он ушел!

— А сколько ему было лет? Семьдесят, наверное?

— Восемьдесят два! — с торжеством сказала Нюрка.

Баба-Люба поджала губы значительно и сказала:

— Двенадцать лет выше меры! Хорошо!

Мера, по ее еврейским понятиям, была — семьдесят.

А теперь она сама давно превысила и эту меру, и толстовскую, и ее это раньше радовало и беспокоило, а потом она решила остановить время и вот уже десять лет всем говорит, что ей восемьдесят четыре года.

Годы эти шли то медленно, то быстро: Нюрка кончила гимназию и выскочила замуж за еврея-ветеринара, порядочного молодого человека, и сразу революция, и сразу Жоржик родился, назвали в честь бабы-Любиного отца, как-то у них там получился из Герша Георгий, теперь все так делают. Слава Богу, хоть обрезание сделали! И потом сразу переехали в Петербург. Петербург тоже стал менять имя — то Петроград, то Ленинград. Потом Нюрка разошлась — не сразу, но постепенно; и правильно, этот ветеринар, ну его, чужой человек, без него стало лучше, и Нюрка поступила на службу — к дефективным детям, в специальный дом. Тут жизнь пошла спокойно, медленно, "по воличке": рос Жоржик, чудный мальчик, ну, драчун, — так он же мальчик! Дрался во дворе с мальчишками за какие-то фантики, потом в школе опять дрался, за какую-то Катю... Про эту Катю он все стихи сочинял, но Катя его не полюбила, слава Богу, бабе-Любе она не нравилась. В дом ходили разные девочки, одни нравились Жоржику, другие бабе-Любе, и баба-Люба спрашивала: ты что их, гипнотизируешь, что ли? У Жоржика были

такие же нестерпимо-горящие глаза, как и у Нюрки, но для мужчины это ничего. Вообще он был нервный мальчик, но сердце у него было золотое.

А потом опять — бах! Жоржик кончил институт, женился, и началась война — все сразу! И сразу опять оказались вдвоем с дочерью: как будто все приснилось. Никакого Ленинграда, никакого Енисейска, а Вятка. Не Вятка, конечно, а Киров (родился он там, что ли?) — сугробы, дома деревянные, лес недалеко... Они ничего жили, не голодали — Нюрка имела рабочую карточку из-за дефективных, и Жоржик присылал аттестат им, а не жене, потому что жена откололась сразу, даже писем не присылала, к своим родителям поехала куда-то на юг. Так она больше никогда и не появилась. Жоржик пришел с войны целый и невредимый, только рука не сгибалась — ну, и слава Богу, он не музыкант, может и с такой рукой... И в доме появилась Милочка, и баба-Люба ее полюбила — не сразу, конечно, а постепенно. Больше всего ей нравилось, что Милочка была блондинка.

— И внуки чтобы были блондины! — говорила баба-Люба.

— Куда вам внуков, баба-Люба! и так в комнате четыре человека! — говорила Мила.

— Не считая домработницы! — замечала Нюрка, теперь — Анна Абрамовна.

— И телевизора! — добавлял Жоржик.

Телевизор баба-Люба полюбила сразу и не позволяла выключать. Внучка, Верка, так и росла под телевизор. Баба-Люба втихомолку радовалась, что внучка, а не внук: пыталась она поговорить про обрезание с Жоржилом, так он ее на смех поднял. А Нюрка потом сказала, что из-за этого у него могут быть неприятности на работе. Что сейчас с этим очень строго. А Жор-

жик на войне вступил в партию. Но слава Богу, родилась девочка, Верка, чудная девочка, способная, и никаких драк, никаких неприятностей за все эти десять лет.

Все теперь говорят: перемены, перемены! Баба-Люба не любила перемен, они означали только неприятности. Каких им еще перемен? Сталин умер, и слава Богу, и никаких особенных перемен, одни разговоры, и жизнь идет себе потихоньку, "по воличке", медленно, слава Богу! Нюрка вышла на пенсию, дети ходят на службу, Верка в школу.

Верка не получилась блондинкой — волосы у нее были темные, а глаза чернущие, с невыносимым блеском. "Совершенно как у покойного папы", — с неудовольствием говорила баба-Люба, неточно помня, ее это отец, или дочери. "Бывало, как зыркнет на меня — у меня и душа в пятки!" — "Бабушка, ведь у Жоржика тоже такие глаза, а вы не боитесь!" — "Жоржик! Жоржик — гипнотизер! Он любую загипнотизирует! Он и тебя загипнотизировал. Ты что, не видела, за кого замуж идешь? Такая красавица!"

Мила смеялась. Красавицей ее называли один раз в жизни, в эвакуации.

И вот сколько времени прошло — а она все помнила.

В общую умывалку институтского общежития, где Мила стирала под краном, вошел невысокий сухопарый военный, в гимнастерке без пояса поверх галифе, в маленьких, с жениной ноги тапочках. Все тогда читали "Войну и мир", и Мила подумала: экой князь Болконский!

Князь Болконский стянул гимнастерку, облился до пояса зимней водой, потом стал мыть ноги, прямо под краном. Мила на него засмотрелась. Он тоже на нее посмотрел, чему-то удивился, опять посмотрел, надел гимнастерку и сказал, не подходя:

— Знаете что, сейчас время такое — никто вам не скажет. Война, огрубление нравов, люди ожесточились. Так вот, я вам скажу: вы — красавица. Вы красавица, и сами о том не знаете, потому что никто вам этого не говорит. Но вы, пожалуйста, помните, что я вам это сказал.

Повернулся и ушел, и может быть в этот самый день уехал — на фронт или в тыл, куда ему там нужно было. Мила его больше никогда не видела. И никто больше ей не говорил, что она красавица, только баба-Люба. Да и та скорее в благодарность за веселое отношение, за то, что вышла за Жоржика и живет с ними в одной комнате, сам-пятая, ну, и конечно за то, что — блондинка. Уже Мила помогала природе и подкрашивала хной седеющие корни огромных своих буйных волос, уже и оттенок их стал чужой, какой-то рыжий — баба-Люба все дивилась: такая блондинка, такая красавица... Загипнотизировал!

— Мама! — вступалась Анна Абрамовна. — Зачем ты Милочке открываешь глаза? А вдруг она Жоржика бросит?

Баба-Люба отмахивалась от нее и говорила Миле:

— Не обращай!

”Не обращай” — осталось в семье от давней ученицы Анны Абрамовны, дефективной Вальки. У Вальки было доброе сердце. Когда Анна Абрамовна плакала от ее выходок — залепила чернильницей в учителя обществоведения, переночевала в спальне у мальчиков, — Валька подходила, трепала ее по плечу и говорила:

— Да брось ты, не обращай! Разве можно из-за меня расстраиваться? Ты не обращай!

Однажды из-за этой Вальки чуть не оборвалась педагогическая деятельность Анны Абрамовны. Да что там педагогическая деятельность, очень

просто могла она загреметь лет на десять, а то и совсем! Дело было в начале тридцатых годов, на школьном утреннике, в присутствии комиссии; Валька вышла на эстраду и стала читать стихи про социалистическое строительство — чуть ли не Жоржик их для нее написал:

Партия решила
Вырастить сады...

Знакомые рифмы неожиданно щелкнули в ее голове: она почему-то оглянулась, потом посмотрела в зал на комиссию, и радостно закончила:

И глядят уныло
Голые кусты!

Показала комиссии язык, расхохоталась, и убежала за кулисы, где Анну Абрамовну уже отпаивали валерьянкой. Пронесло, однако. То ли комиссия не расслышала, то ли высунутый язык все перекрыл. Но у Анны Абрамовны после этого участились сердечные припадки. После каждого припадка баба-Люба с неудовольствием говорила:

— Вся в отца. У нас в семье никто не знал, что такое сердце.

Каждое лето они выезжали на дачу, на Карельский перешеек; снимали комнату и веранду. Когда по субботам приезжал Жоржик, они с Милой спали на веранде, даже если, по предупреждению радио, ожидалась "на почве заморозки". После мужних ночевок у Милы неизменно начинался насморк и она перебиралась в общую комнату. Там царила привычная теплая теснота: ножная швейная машинка "Зингер", бабы-Любино кресло, телевизор, Веркин ящик с игрушками, Мили-

ны книги для работы — килограмм полтора. К Верке в гости забежали приятели, соседские сыновья. Баба-Люба косилась на них подозрительно:

— Маруську сманивают! — шептала она Миле, когда та появлялась в дверях.

Десять лет назад, когда родилась Верка, они наняли домработницу Марусю. После нее баба-Люба не пожелала запоминать новых имен, хотя домработницы менялись часто. По случайному совпадению последнюю домработницу, финку, звали Мария Адамовна.

— Бабушка! Вы что? Это же дети!

— Сманивают! Ты посмотри, как они ей подмигивают!

— Бабушка, у вас портится характер.

— Ну, что ж! — горделиво отвечала баба-Люба. — Я в своем возрасте имею право! Слава Богу — восемьдесят четыре года!

Но иногда баба-Люба обижалась. Или просто ей становилось душно в заставленной городской мебелью дачной комнате. И она уходила, никому не сказавшись.

Анна Абрамовна подходила к Миле, сидевшей над своими фолиантами. Та поднимала голову. Анна Абрамовна делала страшные глаза и фыркала.

— Опять? — спрашивала Мила.

— Опять.

— О Господи!

Мила отодвигала книги и тяжело поднималась на ноги.

— Эта женщина сведет меня с ума! Я знаю, что я сделаю: я напишу сценарий "Старухи должны знать свое место".

— Мое место у керосинки! — бойко отвечала Анна Абрамовна.

— Ладно! — говорила Мила. — Выхожу один я на дорогу!

И выходила. Дорога была пыльная. По ней гоняла на велосипеде Верка с соседскими сыновьями.

— Вера! — кричала Мила. — Доедь до угла, посмотри, не там ли...

— Опять? — спрашивала Верка. И объясняла мальчикам: — Баба-Люба опять ушла, как Лев Толстой.

Ватага велосипедистов уносилась пыльным смерчем, Мила торопливо шла следом. Велосипедисты вылетали из-за поворота ей навстречу.

— Тетя Мила! — кричали мальчишки. — Там, на углу Конной.

— Стоит! — докладывала Вера, притормаживая около матери. — Смотрит вдаль.

Мила подходила к бабе-Любе запыхавшись.

— Бабушка! — выдыхала она. — Что же вы никому не сказали...

Баба-Люба нежно улыбалась.

— А я просто так, — говорила она фальшивым голосом. — Захотелось пройтись, подышать воздухом.

— Да ведь тут шоссе, машины. Собьют вас, что тогда? Вы что, не понимаете?

— Почему не понимаю? — обижалась баба-Люба. — Что я, корова?

Миролюбиво продевала под круглый Милин локоть жиденькую истаявшую руку и говорила:

— Пошли домой! Погуляли — и хватит!

— Бабушка! — говорила Мила. — Придется мне с вас расписку взять, что вы больше не будете уходить без спросу.

— Больше не дам! — сердито отвечала баба-Люба. — Я тебе уже давала расписку.

— Так та была про посуду!

— Какая разница? — сердилась баба-Люба. — Расписка есть расписка!

В расписке "про посуду" рукой Милы было

написано: "Торжественно обещаю больше никогда не мыть посуду, ни горячей, ни холодной ни речной, ни морской, ни колодезной водой".

Баба-Люба прочла и сказала:

— А про дождевую забыла? Эх ты, законник!

— Вы еще скажите — жавелевую! — нашлась Мила.

— Как ты сказала? Жавелевую?

И дописала: ни дождевой, ни жавелевой. Подпись: Люба Шапиро.

Шапиро была бабы-Любина девичья фамилия.

И каждое лето все повторялось. И расписки, и уходы. Но в это последнее лето уходы стали чаще, а главное — баба-Люба отказывалась возвращаться.

— Дождусь Жоржика, тогда пойду, — заявляла она. — А раньше не пойду.

— Бабушка! Но ведь он сегодня не собирался приезжать! Сегодня же не пятница!

— А в прошлую пятницу он не приехал. Что, скажешь, не так?

Мила не находила, что возразить. Действительно — не приехал.

— Вы уже с Нюрой думаете, что бабушка совсем из ума выжила. И вот — не выжила! Я еще вам фору дам! (Это слово баба-Люба помнила с Жоржикова детства.) Где он бегаёт, с кем? А ну, заведутся у него плохие товарищи?

И опять путая родственные связи:

— Ты мать, ты должна знать! А ты не интересуешься вовсе. Тебе лишь бы читать свои книжки. Ро-маны!

Она сморщивала лицо и далеко выпячивала нижнюю губу, что должно было выразить ее презрение к романам. Мила весело возражала:

— Я их не читаю, бабушка, я их исследую!

— А что у нас на ужин? — интересовалась баба-Люба. — Опять олады?

— С яблоками!!! С яблоками, бабушка!!!

И баба-Люба сдавалась. Может быть, по традиции. В семье считалось, что против оладий баба-Люба не может устоять. И она поддерживала свою легенду, свой миф, потому что чувствовала, что положение обязывает: так, наверное, Дон-Жуан ухаживал за своей тысяча третьей испанкой.

Жоржик, ко всеобщему ликованию, все-таки приехал — не в пятницу, а в субботу, и остался на воскресенье. Его уже и не ждали. Он же остался всем недоволен: обедом, погодой, Веркиным соседством и бабушкиным бродяжничеством.

— Весь как Божия гроза! — говорила Анна Абрамовна, делая страшные глаза, фыркала и толкала Милу локтем.

— Я — гарнир! — заявлял Жоржик. — Это факт моей поэтической биографии. Без гарнира для меня обед не обед, хоть вы мне десять котлет дайте.

— Пойду к Шерманам, может, у них есть картошка, — говорила мать.

— Поздно! — мрачно говорил сын. — Я сам к ним пойду, может, Лева приехал.

С шерманским Левой он играл в шахматы. Но Левы не было. Быстрым шагом он возвращался и принимался за Верку.

— Почему не идешь гулять? Почему не катаешься с ребятами?

Вера сморщилась и сказала:

— Они со мной теперь не дружат. Они дружат с толстой Леной. Потому, что у нее есть, а у меня нет.

— Что у нее есть? — спросил Жоржик с любопытством. Мать послала ему предостерегающий взгляд, и он прикусил язык. Но Вера, уже плача, сказала:

— Арсик!

И стала рыдать. Анна Абрамовна заключила се в объятия и объяснила Жоржику, что Арсик — это пудель.

— А! — сказал Жоржик.

И переключился на бабушку.

— Бабушка! Что это мне рассказывают? Что ты ходишь часто на дорогу? В старомодном, ветхом шушуне?

— А зачем мне модное? — возражала баба-Люба. — Слава Богу, восемьдесят четыре года.

— А машины?

— А что машины? А и собьет меня машина — кто обо мне заплачет?

— Я заплачу, бабушка, — говорил Жоржик, дико сверкая глазами. — Ты мне дай торжественное обещание, что не будешь...

Баба-Люба таяла, но отвечала сердито:

— Ты меня не гипнотизируй! Не смотри так!

— Так я же с любовью! Ну? Дашь обещание?

— Даю, даю!

В ожидании ужина Жоржик начинал бегать по веранде и бормотать себе под нос: "Мы дети страшных лет России, — бормотал он, — забыть не в силах ничего". Внезапно он остановился.

— Это они-то дети страшных лет России! — кричал он. — Что они тогда видели? Русско-японскую войну? Памятник "Стерегающему"?¹

— Они ждали! — говорила Мила, поднимая голову от книг. — А страх — это ожидание. Вспомни зиму пятьдесят третьего.

Жоржик склонял голову, обдумывал, потом соглашался.

— Умный ты заяц! — говорил он и щипал Милу за щеку. Она краснела, насколько позволяла потускневшая кожа.

В середине июля погода решительно повернула на осень. Зарядил дождь беспросветный и холодный.

— И все мы делаем наперек стихиям, — вздыхала Анна Абрамовна. — Люди на юг едут, а ленинградцы на север, на Карельский перешеек.

Она никогда не бывала на юге. Муж-ветеринар в первый год семейной жизни обещал, что непременно переведется на службу в Ялту, и тогда она будет приезжать туда на лето с сыном. Он сдержал обещание — перевелся; в первое лето Анна Абрамовна не смогла поехать — училась на курсах, а на следующее он ее и не позвал. ”И не почему-нибудь, — рассказывала она впоследствии, — а просто потому, что бирюк был. От природы бирюк. Десять лет потом жил один. На Жоржика алименты посылал исправно. Так мы и жили — я тут, он там. Потом уж надумал жениться”.

Анна Абрамовна фыркала.

Марья Адамовна любила эту историю. Она садилась штопать Веркины чулки и говорила:

— А ну, а ну, расскажите, Анна Абрамовна, как вы с мужем жили? Он в Ялте, вы в Ленинграде?

— А чего тут рассказывать?

Но Анна Абрамовна рассказывала, и Марья Адамовна слушала ее с огромным вниманием, а потом говорила:

— И правильно, что не переехали. Тут даже в Гатчине ничего нет, всего-то пятьдесят километров, а все из Ленинграда возят! И продукты, и промтовары! А его эн куда мотнуло — в Ялту! Туда аж на теплоходе!

Анна Абрамовна задумывалась.

— А теперь я расскажу вам про моего хозяина, — говорила Марья Адамовна. — Рассказывала я вам про моего хозяина, эстонца? Что рядом с моей сестрой живет?

— Расскажите, — дипломатично говорила Анна Абрамовна. Эту историю она знала наизусть.

— ...и сажают его за лесных братьев на десять лет. А он пчеловод.

— Пасечник, — говорит баба-Люба со своего кресла.

— Надо же! И баба-Люба слушает! И вот — прошлый год его выпускают. Этот немец, самый главный у них, вместо Гитлера, после того, как приехал.

— Аденауэр, — говорит Мила, не поднимая головы от книги.

— ...И все его хозяйство разорено, конечно, и улья пустые, только колоды стоят. И утром он пришел домой, а вечером!.. А вечером к нему рой прилетел! Ну, он просто не знал, на каком свете. Прибежал к моей сестре, прямо плачет. А сестра моя такая проходимка! Он говорит: "Ты подумай, говорит, Маруся, только я утром пришел, а вечером они ко мне прилетели!" И рассказывает, и плачет, и рассказывает, и плачет...

— Баб-Аня! — канючит Вера. — Кажется, дождь перестал. Можно мне на велосипеде?

— Погода неограниченная! — замечает Марья Адамовна.

И Вера делает вывод, что опять не пустят на улицу.

— И Жоржик опять не придет. — бормотала баба-Люба. — В такую погоду, что он, больной — на дачу приезжать? Что он, старух не видел? Старухи и в городе есть.

— И молодухи тоже, — задумчиво говорит Вера, ничего не имея в виду и дивясь, почему все так развеселились.

— Никогда не могла понять причин успеха моего сына, — неискренно говорит Анна Абрамовна. — Звонят, молчат, пыхтят в трубку. Чем он их берет? Невысокий, рука не сгибается...

— И нос кривой! — подхватывает Марья Ада-

мовна. — А женщины дуры. Им что? Лучше черта — значит, красавец.

— Он их гипнотизирует, — говорит Мила, ничуть не удрученная разговорами о мужниных успехах. — Баба-Люба знает.

— И вас загипнотизировал?

— Мне он стихи читал. Я вам и сейчас скажу — у него стихи настоящие.

Мила любила стихи и многое прощала мужу за то, что он все равно был поэт, хотя и протирал штаны в своем научном учреждении. У нее были собственные взгляды на поэтический обмен вещами. Подруга детства говорила ей:

— Уж очень ты ему воли много даешь!

Мила усмехалась. У них с подругой были разные судьбы. Та в юности страдала, по определению Алексея Алмазова, "патологической гипертрофией сексуального элемента". Ей было лет четырнадцать, когда к ней стал приставать отчим; в пятнадцать она сделала первый аборт; в двадцать это была женщина с прошлым. К двадцати пяти прошлое кончилось, и она вышла замуж за человека с будущим. Теперь у них с мужем была собственная дача, недалеко от той, которую снимала Мила с семейством.

— Ничего, Вера, — утешала Марья Адамовна, — завтра погода будет, папа приедет, ты на велосипеде накатаешься.

Но погода не налаживалась, и никто не приезжал, и велосипед стоял без употребления, и Мила себя как-то так чувствовала... Баба-Люба сказала: — Мила у нас беременна, пора в город ехать.

— Мама, ну что ты говоришь! — возмутилась Анна Абрамовна. — Беременна! Откуда? Ей сорок лет!

— Баба-Люба всегда говорит, что Мила беременна, — сказала Марья Адамовна. — И зимой,

помните, когда грипп свирепствовал.

На этот раз баба-Люба оказалась, однако, права. В августе у Милы еще были сомнения, но когда переехали в город (швейная машинка, бабы-Любино кресло, Веркина кровать, Веркин ящик, телевизор, книги — и Мила на всякий случай помогала все это грузить), сомнения кончились. Надо было принимать решение. И Мила по вечерам, когда Марья Адамовна храпела, а баба-Люба дремала в своем кресле, советовалась с Анной Абрамовной. Анна Абрамовна делала страшные глаза — куда мы поставим еще одну кровать, вы подумайте? — Потом весело фыркала. В самую неожиданную минуту баба-Люба громко заявляла:

— И все я слышу, и можете не секретничать! Подумаешь, невидаль — забеременела. Не де-вушка, слава Богу!

— Кто забеременел? — просыпалась Верка.

Марья Адамовна просыпалась и ворчала:

— Спи, Вера, спи, что это еще за слова такие для ребенка? ”Забеременела, забеременела!” Спи!

— Все на меня кричат, — бормотала Вера, засыпая.

А где был Жоржик! А Жоржик надумал жениться. В загсе. Они с Милой не были записаны: он как-то забыл расторгнуть свой довоенный брак. Мила же и думать об этом не думала — работа, Верка, интриги на работе. Она все боялась, что ее уволят как еврейку, и поэтому выполняла план за весь отдел. Ее положение на работе до самого пятьдесят шестого года казалось ей временным и каким-то незаконным. Даже в той комнате с Жоржиком, Анной Абрамовной, бабой-Любой, Веркой и Марьей Адамовной она жила незаконно — без прописки. Прописана она была в квартире, где родилась,

и там за ней числилась комната, в которой жили уже совсем посторонние люди — бывший муж сестры с новой женой. Анна Абрамовна иногда говорила, что надо бы эти две комнаты сменять на две вместе — Мила отшучивалась: вот, когда Верка замуж соберется, — вот тогда. Она привыкла к здешней обжитой тесноте. Иногда Анна Абрамовна приходила в кухню и делала страшные глаза:

— Махамолэс, по-моему, намекал насчет прописки.

Махамолэс — ангел смерти — так она называла мрачного Ивана Федоровича, ответственного съемщика.

Но дальше намеков дело не шло; да и намеки всегда были связаны с тем, что Мила слишком долго моется в коммунальной ванной. Мила стала ходить в баню, и намеки прекратились. Так и жила она, не прописанная.

Так вот, Жоржик надумал жениться. Не на Миле, однако. Известие об этом пришло с его работы. Позвонил ревнивый женский голос:

— Это Анна Абрамовна?

— Я, — сказала Анна Абрамовна.

— Знаете ли вы, что ваш сын собирается зарегистрироваться с Мариной Федотовной Ивановой?

— То есть как? — спросила Анна Абрамовна не подумав (потом она не могла себе этого простить).

— У них роман, — сказал голос. — Мы давно это знали, но теперь... Мы считаем, что это должна знать семья.

Анна Абрамовна немножко помолчала, собралась с мыслями, потом спросила:

— А кто это мы?

— Мы — сотрудники...

— А как вас зовут? Тамара?

— Это неважно, — сказал голос запнувшись.

— Нет, почему же "неважно"? Это вы имели привычку пыхтеть в трубку?

Трубка запыхтела и смолкла. Анна Абрамовна села в кресло и заплакала. Баба-Люба дремала. Дома никого больше не было. Анна Абрамовна решила поговорить с сыном.

Только где? Когда выясняли отношения Жоржик и Мила, они обычно уходили в кино. Но с матерью он не ходил в кино уже много лет. Надо было ждать случая, а случай не представлялся. Приходил он домой поздно, съедал свое второе с гарниром и заваливался спать.

— "Сорок лет на раскладушке", — название для мемуаров, — ворчал он.

Утром он убегал вместе с Верой. Потом Марья Адамовна убирала со стола, Мила раскладывала свои фолианты, Анна Абрамовна усаживалась за швейную машинку, баба-Люба включала телевизор.

— Мила! — спрашивала она внезапно. — Какая тут река? Енисей?

— Нет, бабушка, Нева, — отвечала Мила, не поднимая головы.

Баба-Люба пожимала плечами недоуменно:

— Что вдруг?

Марья Адамовна приходила с кухни и заявляла:

— Не купите отдельный счетчик — не буду у вас жить. Опять этот... Махамолка... говорит, что мы свет жгем. А я знаю, что это не мы жгем, а как докажешь? Двое работают, а счетчика завести не могут!

— Ничего, Марья Адамовна, — говорила Мила весело. — Навалимся всем миром, поднатужимся и купим счетчик.

— И доску стиральную, — говорила Марья Адамовна.

— И доску. Впрочем, нет: доску стиральную не купим. Купим лампу настольную.

После небольшого спора Марья Адамовна уходила. Через некоторое время Мила поднимала голову и говорила:

— Так как будем решать, Анна Абрамовна? Уже время подпирает. Не ждет.

И однажды Анна Абрамовна решилась:

— Милочка, по-моему, вы должны поговорить с Жоржиком.

В обычное время Мила ответила бы: а зачем? Он все равно скажет: заяц, делай, как знаешь. Но так мучительно было Анне Абрамовне говорить, что Мила нехотя приняла сигнал и насторожилась:

— А что такое?

Путаясь в словах, поминутно вытирая глаза и фыркая, Анна Абрамовна рассказала про телефонный разговор. Мила потемнела, замолчала, потом сказала с раздражением:

— Дурак! Нашел время!

Ей хотелось оставить ребенка. Она чувствовала себя хорошо, выглядела хорошо, знать не знала ни про какие рвоты, наоборот — ей вечно хотелось есть, все было вкусно. Верка — ни на руки взять, ни приласкать по-настоящему; отношения с мужем никогда не радовали ее своей интимной стороной, хотя ради этой стороны она и мерзла терпеливо на дачной веранде. Она ее терпела как стыдное и безрадостное, но необходимое приложение к общесемейной жизни. А уж в городе! Торопливые страсти-мордасти среди ночи и общего притворного сна, мерный скрип кровати, страшный шум дыхания — мертвый бы проснулся! — она только и молилась: скорей бы, скорей! К счастью, в городе это случалось нечасто.

Что делать, если только так можно иметь де-

тей. Ребенка она бы хотела оставить. Да, но Верка, например, первый месяц не спала, и они с Жоржиком носили ее на руках по очереди — один спит, другой носит.

— Нет, это ужас, ужас, как же я одна, а он тем временем... Нет, ужас, ужас, как тут оставлять... И вспомнила Подругу, с которой до сих пор они еще разговаривали о любви. Мила проповедовала, что любовь свободно мир чарует, а Подруга настаивала, что любовь это цепи. Теперь она будет говорить: "вот видишь!". Или смотреть сочувственно. Мила отодвигала проклятые фолианты и начинала ходить между столом и шкафом — три шага туда, три обратно. — Зла не хватает! — бормотала она. — Черт, черт, черт...

— Мила, — дремотно спрашивала баба-Люба, — ты не помнишь, как была фамилия дяди Гриши?

— Не помню, бабушка.

— Это какого дяди Гриши? — спрашивала Анна Абрамовна.

— Которого в синагоге проклинали. Ну? Который потом в полынью попал. Ну? Да что ты притворяешься, что не помнишь?

— Теперь вспомнила, — сказала Анна Абрамовна. — Это который крестился и уехал на золотые прииски?

— Ну? Так как его фамилия?

— Фамилии не помню. Подумаю.

— Ты думай-думай, да не усни. Черт знает, чем забита голова.

И задремывала.

Дремать тоже было нелегко. В комнате висели тучи, прямо над головой, и надо было бежать скорее домой, до грозы, и кого-то скорее спасать, кто с ней рядом, кто-то маленький. И они с ним спешат, а спешить тяжело, дыхания не хватает, но дождя все нет, а только тучи нависают низко.

Ее будили, ставили перед ней на столике тарелку супу. Она сердилась:

— Причем тут суп? Чаю с малиной мне надо, а то гроза...

Потом она вспоминала, что грозы не было, значит, успели добежать, только почему тут все эти, с дикими глазами, — Нюрка, Верка, а нету того, кто нужен.

— Мила, — спрашивала она тоскливо, — он еще не пришел?

И вспомнила, кто он: ее сын. Нет, внук, какая разница. Жоржик.

Один раз Мила ответила со злостью:

— Придет, никуда не денется; жрать захочет — придет!

Баба-Люба даже попробовала приподняться — интонация была непривычная. Она собралась с мыслями и сформулировала:

— Еврейская женщина, а ругается, как чалдонка!

Мила стала ей подозрительна. Это от нее шли тучи, нависавшие под потолком. Это от нее надо было спасать маленького. Когда Мила поставила перед ней стакан чаю, она невнятно сказала:

— Из твоих рук не возьму!

Мила расплакалась, рассмеялась, закричала прежним веселым голосом:

— Бабушка, если и вы от меня откажетесь, то я не знаю, что сделаю!

Баба-Люба не поверила веселому голосу, и все смотрела на Милу подозрительно. Потом заснула. Чай остыл. Проснулась она от шумного разговора. Мила говорила:

— Надо было раньше говорить. Теперь уже и аборт делать поздно. Четыре месяца.

— Какой аборт? — подумала баба-Люба. — У нее же есть уже ребенок.

И раздался его голос:

— Я с себя отцовских обязанностей не снимаю.

— Жоржик! — позвала она.

— Сейчас, мама, сейчас! Вот ты о ней-то хоть подумай!

— Что они говорят все? — думала баба-Люба.

— Какие-то глупости. За что они все на него сердятся? Вот, опять кричат.

Анна Абрамовна говорила напряженно-спокойно:

— Как бы то ни было, твой долг сейчас — дать ребенку имя. Зарегистрируйся с Милочкой, а потом разводишься, женись, не женись, все равно, ты же не хочешь, чтобы у твоего ребенка был в метрике прочерк? Верку ты усыновил, а этого? Тебе не позволят!

— Прочерк, прочерк, — слышала баба-Люба сквозь сон. Почему-то сон налетал на нее теперь, когда она его не ждала и не звала, как раз среди дня, когда разговаривали о своих глупостях. А ночью, когда все спят, она просыпается, и воображает невесть что, потому что не может того быть, что она воображает. Они плачут, оплакивают его, а он ведь жив, разве можно оплакивать живого?

— Что вы его оплакиваете? — спрашивала она сердито. — Разве можно оплакивать живого?

— Что ты, мама! — сказала Анна Абрамовна, поспешно вытирая глаза. — Но ты же знаешь его характер. Вечно с ним такие истории. Помнишь, как он сбежал из дому, еще тогда мы на Зеленина жили.

— Помню, — баба-Люба закивала. — Но мы ж его тогда нашли. Я сама привела его домой из полиции.

— Положим, не ты, а я, и не из полиции, а из милиции. Ну...

— Подумаешь, большая разница! Тебе лишь бы спорить! Так что он опять сотворил?

— Ах, мама, не спрашивай!

Вот оно что! Даже — "не спрашивай". Значит, самое страшное.

Баба-Люба повернулась к стене. Сон опять пришел, но плохой сон, совсем без надежды и утешения, без попытки спастись и спасти. Во сне она тяжело дышала. Марья Адамовна прислушивалась и говорила:

— Скоро отмучается. Это надо же, в чем душа держится, а умирать не хочет. Вот, Мила, ты послушай, чего я скажу. У меня сестра — знаешь, какая проходимка! Ого! Как станет на порог, как закричит: "Вон с моего дому!". Он сразу и выкатился, и что же ты думаешь? Она только и жизнь увидела! Теперь у ней платье-не-платье, пальто-не-пальто, все, что зарабатывает, все на себя. А раньше? "Ах, Сенечке брюки! Ах, Сенечке ко дню Красной Армии!". Смотреть противно было!

— Мама, — говорила Вера, — ты послушай, может, ты все-таки поймешь. Вот такая задача. Поезд вышел из пункта А...

— Задач с поездами я отродясь не понимала.

Вера вздыхала и говорила:

— А папа умел решать.

Незаметно для себя она стала говорить о нем в прошедшем времени.

— Мила, — говорила Анна Абрамовна тихонько. — Я звонила сегодня этой... Марине Федотовне.

Мила всплеснула руками.

— Господи! Только этого еще не хватало! Это ж не детский сад. О чем вы с ней говорили, интересно знать?

— Отчего вы так, Милочка? Я, извините, если я, я тоже... не чужая, все-таки, у меня тоже...

— Анна Абрамовна, дорогая! — вскидывалась Милочка. — Не обращайтесь!

— Вот именно! Вы уже как Валька. "А ты — не обращай!"

— Ей-Богу, Анна Абрамовна, это правильно в нашем положении. Это самое главное — "не обращай!" Ну, так и что же?

— Я ей сказала, что надо Жоржику с вами расписаться, что ребенок будет. Она сказала — у Анны Абрамовны из глаз пыхнула молния — она сказала: детей мы обеспечим.

— Я все-таки понимаю, почему Жоржик от нее ушел, — говорила потом Анна Абрамовна Подруге (она ей симпатизировала). — В ней никакой ласковости. Я ждала, ну просто ждала, что она ко мне бросится, поплачет. У нее же просто вся кровь от лица отлила. Нет, не умеет. Помолчит-помолчит, походит между столом и шкафом, посердится, и все. На завтра уже шутит.

— А вы?

— И я шучу. А что делать? Я даже не понимаю, любила ли она его когда-нибудь.

— Мила, ты хоть его любила? — спрашивала Подруга.

— А черт его знает! Любовь, нелюбовь... Все такие пустяки! Вот как подумаю, что мне все ночи не спать, и никакой помощи — вот тут я киплю. А то — любовь, нелюбовь... Не того поля дела. Он совсем одурел, что же я тут могу?

— На работе было обсуждение, знаешь? Выговор получил, по партийной линии.

— А ему наплевать... Это обсуждение... Знаешь, в чем дело? Кто это все поднял? "Другая" обиделась, с которой он раньше путался. Тамара такая. Она имела привычку сюда звонить и молчать в трубку. Уже мы с Анной Абрамовной привыкли, только не знали, как ее зовут, пока он сам не сказал: а, это, наверное, Тамара! Вот она и подняла всю бучу. Я теперь в курсе. Мне все все рассказывают.

— Эх ты! — говорила Подруга. — Ум льва, а сердце курицы! Почему ты сама не напишешь в парторганизацию? Почему это должна делать какая-то Тамара?

Мила брезгливо морщилась.

— Вот-вот, кривись-кривись, а у тебя ребенок останется с прочерком. Парторганизация его бы заставила. Идиотская сентиментальность. Это же не сталинские времена, никто его за аморалку исключать не будет. Но тебе помогут.

Мила пожимала плечами. Ум льва, сердце курицы. Возможно. В прошлом году, когда в их учреждении появился после семилетнего перерыва реабилитированный сотрудник-еврей, она попросила его не садиться с ней рядом на заседаниях, чтобы не подумали... Жоржик ее потом за это чуть не загрыз. А между прочим сам твердил: ты будь поосторожнее. Тогда еще никто не был ни в чем уверен. Но причем тут парторганизация?

Жоржик совсем перестал появляться дома, Мила по ночам плакала, лежа на спине, чтобы слезы не пятнали наволочку.

Миле исполнилось сорок лет. В это утро, расчесывая волосы перед шкафом, она рассматривала себя с жалостью и нежностью. Да, была красавица, прав был тот человек. Черты лица, хоть и стали грубее, а все равно правильные. Уши маленькие, прижатые. А уж волосы! Цвет лица, конечно, да и фигура — но и тогда не было особенной фигуры, просто худоба. Да, была красавица, и вся вышла, и вот сорок лет, бабий век кончился, а на что он был? Глупости это — бабий век, были бы дети. Вот у нее будет двое детей — и что же, не прокормит она их? Без всякой посторонней помощи? Конечно прокормит, теперь ее ценят на работе, она без ложной скромности специалист очень высокой,

можно сказать — высочайшей квалификации, теперь это все понимают, и никуда ее не выгонят, кончились те времена. Но все равно, пусть он платит. Это и для детей хорошо, и для него самого. Мила очень хорошо знала, что для него хорошо, что плохо.

— Мила, — позвала баба-Люба с кровати.

Мила подошла.

— Ты скажи мне правду. — Баба-Люба вцепилась бесплотной ручкой в Милину юбку и зашептала. — Нюрка все равно не скажет. Скажи мне: он крестился?

Мила открыла рот, оглушенная. Господи, в какие странные образы претворяются стариковские ощущения!

— Ты молчишь, — значит крестился. Я так и знала.

— Бабушка, да что вы? Он и не думал. Что вы, бабушка?

Баба-Люба ее не слушала. Она сама говорила:

— И еще когда он за той, за гимназисткой ухаживал, уже тогда я знала, что не доведет его это до добра. Теперь его проклянут в синагоге. Но я скоро буду у Бога, я Ему все скажу.

— Бабушка, что вы говорите?

— Я Ему все скажу. У меня отца отнял, мужа отнял, у Нюрки тоже — как нам, женщинам, одним, без мужчины? Что мы могли? Я Ему все объясню, Богу!

Бог был в вицмундире с блестящими пуговицами, вроде директора гимназии в Енисейске. Если не плакать сразу, если все спокойно объяснить, то Он может и понять. Она объясняла Ему, объясняла, и принимала всю вину на себя — не сумела воспитать, и не надо ей, чтобы ее на небе встретили как-то особенно. Она стала петь Богу старую колыбельную песню, "зей а фрумер инд а гутер" (будь набожным и добрым) — и за

то, когда твоя мать придет на небо, все скажут — вот идет "а цадик мутер" — вот идет мать праведника. Но все равно эту песню все знали, и Бог, конечно, тоже, и она так и не поняла, удалось ли Его уговорить, потому что Бог ушел, и пришел внук, и обнял ее.

— Бабушка! — весело сказал он. — Ты что же это, бабушка?

И тут баба-Люба поняла, что она уже была у Бога, и Он ее отпустил только на минуточку попрощаться с внуком и сказать ему самое важное. А что самое важное? Она не хотела помнить, что такого страшного мальчик сделал, потом — раз уже сделал, то ничего не изменишь, не для этого Бог ее отпустил. Она обняла толстую мужскую шею внука дрожащими руками и, плача от жалости, сказала:

— Я тебя прощаю. Ты знай — я тебя прощаю.

Так она и заснула, на плече Жоржика; он осторожно сложил ее голову на высокую подушку. Никто не заметил, как она перестала дышать. Анна Абрамовна говорила, что не дело, если ребенок с прочерком. Жоржик сообщил, что ему надо выписаться из квартиры, потому что они с Мариной Федотовной собираются подавать на кооперативную, но он понимает, и он им всем тоже добьется разрешения на кооператив; Мила поинтересовалась, откуда он возьмет денег, и он сказал: достанем! Она усмехнулась и сказала, что уже ради этого стоило разводиться, и Анна Абрамовна заплакала; и тут Мария Адамовна вошла в комнату с кастрюлей, прошла к бабушкиной кровати, ойкнула и закричала зычно:

— Да тише вы, оглашенные! Баба-Люба умерла.

А новый ребенок — это был мальчик, беленький и светлоглазый, — родился, и правда, в новой

кооперативной квартире: Жоржик проявил чудеса расторопности и "всех загипнотизировал". Все ему удавалось. Только одно не удалось: он попросил, чтобы ребенка назвали Левой — в честь бабы-Любы и Льва Толстого.

Но Мила не согласилась. И назвала мальчика Федей. В честь Достоевского.

1980

ЭЛИЗАБЕТ АРДЕН

В сорок восьмом году мы разбогатели.

Мой муж, редактор ленинградского издательства, чудом получил полставки в Педагогическом институте. Механизм этого чуда мне и сейчас неизвестен; помню только в телефоне вкусный голос:

— Касторский моя фамилия. Да-да, правильно: Касторский. Так передайте ему, что полставки я ему устроил.

Вот так сбываются мечты. Я мечтала о бюджете в три тысячи (около трехсот рублей по-нынешнему) как о вершине благополучия. В издательстве муж получал тысячу двести. Полставки в институте — тысяча пятьсот, потому что муж был кандидат наук, — все решали. Читать он должен был что-то ему совершенно неинтересное, но — полставки! Остальные триста дорабатывала я — машинкой, рецензиями, переводами. Те самые триста рублей, которые мы платили нашей Симоновне, нашей бабушке Тасе, нашей няне-кухарке-домработнице. Словом, члену семьи. Так когда-то говорилось про мою собственную няню. Только Симоновна у нас не жила — она жила с дочкой, Шуркой-кочегаркой, "в опчежитии на Крестовском". Но иногда она оставалась у нас ночевать на железной гостевой кровати, с сеткой, провисавшей, как гамак, и

когда мы приходили домой из гостей и, не зажигая света, сразу валились на нашу уже постеленную тахту, в уютные углубления между строптивыми пружинами, я с неизъяснимым наслаждением еще несколько минут слушала ее похрапывание, на фоне тихого дыхания детей. Это похрапывание вселяло спокойствие: можно спать, спать, если кто из детей заплачет — она встанет; позовет — она ответит; утром она поднимет их тихонько и вынесет на кухню... Дивные, незабываемые ночи.

Когда мы разбогатели, мы стали оставлять Симоновну ночевать каждую неделю — теперь мы могли это себе позволить. Кроме того, я заказала себе в ателье пальто: верх был старый, но мех новый — рыжий опоссум! И дочке была обнова — шапочка, шарф и кашне, попросили приятеля привезти из Таллина. И отпраздновали пятилетие нашей свадьбы, даже фазанов выставили, поскольку фазаны в ту осень были не дороже кур. И я пошла к косметичке.

С косметичками я стала иметь дело с девятнадцати лет по причине веснушек, которые с детства считала чем-то вроде каиновой печати. Борьба с веснушками была долгой, изнурительной и безнадежной: бывало, они отступали, но потом неизменно вылезали снова. Косметички твердили: какая у вас сухая кожа! — и предлагали питательные кремы, яичные маски, глубокое шелушение... За последние пять лет, посвященные примитивной борьбе за существование, я все это забросила, но теперь ввиду наконец состоявшегося разбогатения!.. Правда, мы еще оставались должны три тысячи нашему другу, у него была полная ставка и не было детей. Но он не торопил, и вообще сказал, что это теперь, после реформы, уже не три тысячи, а триста. Мы сказали: ни за что! — и попросили подождать до весны.

Словом, я пошла к косметичке!

Пошла не куда-нибудь — в "Европейскую"!

Это теперь около "Европейской" околачиваются хорошо и по сезону одетые сотрудники госбезопасности, потому что там останавливаются исключительно иностранцы. А тогда там, по моему, останавливались наши командировочные из Москвы, да члены Союза писателей, даже не самые руководящие. И я вошла, и никто меня не остановил, и я нашла косметический кабинет на втором этаже.

Косметичка выглядела как реклама. У нее была белая, плотная и тугая кожа, просвечивающая розовым на круглых скулах. Пониже скул были ямки, повыше — широко раскрытые голубые глаза, выразившие спокойную радость жизни. Когда мы оказались в одной физической плоскости — она наклонилась над моим креслом, рассматривая кожу, которую ей предстояло "лечить", — на меня снизошло непривычное ощущение бестревожного покоя; вечная зажатость отпустила, сосуды расширились, мне стало тепло, как озами под снегом.

Я стала ходить сюда три раза в неделю. И каждый раз, когда я усаживалась в кресло, похожее на зубоврачебное, и белорозовая косметичка наклонялась надо мной — а пахло от нее кремом, свежим, как сливки, — покойное тепло обволакивало меня, как одеяло.

— Вы знайт, скольльлько мне льет? — спрашивала она.

И кончик языка в темно-розовой глубине ее рта дрожал: льльль...

Нет, я не знала, сколько ей лет, и другая клиентка, похожая на тощую фараонову корову, не знала тоже.

— Шестьдесят! — говорила она радостно. — Никто не вьерит!

Я тоже не верила. И теперь не верю. Ну да, шестьдесят! Даже Екатерина Вторая в этом возрасте казалась старой помещицей. Нет, ей, вероятно, было сорок с чем-нибудь, но она навбавляла себе годы для рекламы. Запад!

Она была "западная". Похожая на немку, но не немка. (Немцы — не военнопленные, просто немцы, — правда, уже появились на ленинградских улицах, но то были мужчины. Говорили — инженеры, с заводов Цейса. А женщину за все время я видела только одну — военнопленную, двухметрового роста; потом, когда по Ленинграду ветром пронесся слух о поимке какой-то лесной бабы, что ела партизан, и весь Ленинград бегом бежал в зоосад, чтобы на нее посмотреть, — она мне представлялась в виде той немки: двухметровый рост и мужская немецкая форма.)

Вероятно, она была из Прибалтики, из Таллина или Риги. Может быть — вернулась туда после войны откуда-нибудь из Штатов? Иначе — почему у нее могли быть препараты Элизабет Арден? Никакая, никакая заграничная косметика, сколько я себя помнила, на территории Советского Союза (не считая новых окраин, появившихся после 39-го года) официально не продавалась. Что-то где-то было в годы нэпа (помню слово "лориганкоти" и, по-моему, у писателей-попутчиков было это слово черным по белому отражено), но это было еще мамино время, очень-очень короткое время, даже по моему тогдашнему ощущению. Одно из первых моих детских воспоминаний — синяя фаянсовая мисочка с разводами и в ней макароны, которые я называла "паек" (я долго думала, что это и есть их название); потом я, школьница, стою с няней в очереди за макаронами — опять-таки за пайком. А все это мамино время с "лориганкоти" и кондитерскими как раз умещалось между этим

двумя недалекими друг от друга воспоминаниями.

Совершенно не могу вспомнить, как звали эту западную косметичку. Как ни стараюсь — не могу. Потому что про себя я так ее и назвала — Элизабет Арден. И тогда и потом, много лет. Эти два слова — Элизабет Арден — музыкальные, мелодичные слова — были выпечатаны, вычеканены на баночках, бутылочках, коробочках. И на розовых, шершавых, глянцевитых, невероятно заграничных коробках с пудрой, которые застегивались на огромную кнопку, застегивались безотказно, с легким победным щелканьем, неизменно вызывавшим из каких-то младенческих глубин веселое чувство торжества человека над механической стихией.

Элизабет Арден мягко и густо накладывала крем на мое отощавшее лицо — питательная маска; изголовье кресла отклонялось, и я с удовольствием смотрела на чистый, ровный, прекрасно выбеленный потолок — редкость в послевоенном Ленинграде. Можно было закрыть глаза, слушать, как под журчание воды в умывальнике питательная-спасительная маска прирастает к коже; можно было скосить глаза и разглядывать "тощую корову", которая безгласно и безропотно сидела рядом на стуле, желтая от маски, вытаращив остановившиеся глаза...

В комнате то и дело раздавались мужские голоса. Электрик осведомлялся, как работает привод; мастер спрашивал, все ли в порядке с утюжком; водопроводчик тоже чем-то интересовался. Элизабет Арден смеялась: все было хорошо, прекрасно; мужчины топтались, не уходили. Заходило начальство (серый костюм, пятьдесят второй размер, четвертый рост) — проверить, расспросить, поддержать морально. Косметичка спросила, почему уволили кастеляншу с этажа,

начальство бархатным голосом возразило:

— Ну, разве вы этим должны интересоваться? Вы должны интересоваться, когда мы вечер устроим, мужчин интересных пригласим!

По всем классическим, пристлиевским канонам, где-нибудь на Западе она была бы шпионка: иностранка, красавица, косметичка... Шпионка, которую соответствующие органы давно уже заподозрили и водят на крючке, как крупную рыбу. Но то в романах. А на самом деле никакая она не шпионка, просто дура: прибыла сюда из своей Прибалтики и думает, наверное, что здесь все как у людей, раз есть женщины. Да. А ведь ей все равно несдобровать, уж слишком она выделяется, все равно ее объявят шпионкой, этого не миновать, даже я вижу безысходность ее положения, и "тощая корова", наверное, тоже, потому и глаза таращит. Это как в театре, когда смотришь знакомую пьесу, только актеры новые — в этом и весь интерес.

Она сушила, гладила и трепала мою кожу, словно то была не кожа, а конопля. Я — становилась коноплей. Но стоило ей отойти — опять попадала в детективную пьесу. Пьеса идет, давно уже идет, ты еще за кулисами, но скоро твой выход. А там — и мой. Никуда не денешься. Всем нам предстоит этот час, как смерть. Говорить об этом не принято, да и не следует — чего тут говорить, раз не избежать?

А вдруг — удастся избежать? Ну, кто мы такие? Беспартийные, и место у мужа такое незавидное, и дети у нас маленькие, и вообще... И вообще, мы со многим согласны, мы во время войны даже со всем были согласны, и Сталина признаем великим — что уж тут говорить, конечно, признаем. Кто теперь, после войны, не признает? Вот только насчет безродных космополитов... И раскрытия псевдонимов... И когда-

то я отказалась сотрудничать с НКВД — но это когда было, еще до войны! И кому-то я сказала про Ленина: второстепенный журналист, и он испугался... И еще кому-то — "побежденный диктует победителю свои законы" — да, но это я у Фейхтвангера вычитала. — Да, вычитала, но вспомни повод, по которому ты это говорила... И однокурсник, провожая, вдруг так деловито осведомился: "Что ты думаешь насчет падения Жукова?" — словно задание выполнял. И тут-то я не подкачала, тут-то я ему наотрез: да ничего не думаю, думаю про то, где бы сыну валенки купить. — Да, но раньше-то, раньше-то, мы ведь с этим однокурсником были не разлей вода, о чем только ни говорили... Да нет, это все страхи, пустые страхи, ночные страхи, потому что нам так хорошо, так благополучно, так счастливо, так богато живется. Наш дом, наша комната шестнадцать квадратных метров стала полной чашей: три кровати, тахта, письменный стол, и главное — совершенно целый, купленный за шестьсот рублей ореховый шкаф с выдвижными полками. И немецкие занавеси я купила в Гостином — восемь часов отстояла в очереди, но зато какие занавеси! И книги — мы теперь можем даже покупать книги, полка стоит на нашей коммунальной кухне, и там даже есть место. И молоко для детей всегда есть, и иногда даже мандарины, "попопамы", как их называют дети, потому что мы им даем мандарину пополам. И моя шуба! И Элизабет Арден!!!

Элизабет Арден. Мне страстно хотелось коробку пудры — глянцевитую, с кнопкой-застежкой. Пудра была не белая, и не розовая, и не Рашель, а какая-то совсем другая, цвета фильдеперсовых чулок маминых в годы нэпа; цвета изобилия — так много было этих чулок у мамы, они все лежали в одном узле: она их бросала в

этот узел, если спускалась стрелка. Они были такие нежные. Я натягивала чулок на руку и разглядывала. В начале тридцатых годов я их стала потихоньку носить — под длинной юбкой не было видно стрелок, особенно если зашить аккуратно. Их хватило мне до семнадцати лет, тех чулок.

Для того, чтобы заполучить розовую коробочку, надо было пройти "полный курс лечения". Десять сеансов по тридцать рублей, плата вперед. Только после этого коробочка перейдет ко мне — как награда, как премия, как выслуга лет.

Я выслуживала исправно. Запрокидывала голову в зубо врачебном кресле, вдыхала сливочный запах пальцев и декольте Элизабет Арден и слушала ее журчащие поучения.

— Хмуриться нельзя, — говорила она, улыбаясь, и выговаривая "т" с мягким знаком. — Лицо всегда должно быть спокойное.

— А если на душе кошки? — спрашивала тощая, поднимая страдальческие глаза.

— Что значит — кошки? Такой выражений?

— Что значит — буря? — спрашивал меня двухлетний сын. Он сразу ухватывался за подлежащее, как за быковы рога. "Мглою небо кроет" его не зацепляло. — А к нам буря не придет? Ни за что не придет?

Буря не приходила, но в два часа ночи он все равно просыпался с воплем, утверждая, что у него под кроватью собака, или корова, или еще какое-нибудь дачное впечатление, которое в городской квартире оживало, как ночной страх.

— В няньки я к тебе взяла ветер, солнце и орла, — выпевала я, гуляя по темной комнате с ним на руках. Он примащивался поудобнее и тяжелел. Потом открывал совершенно ясные глаза и спрашивал деловито:

— А где этот — ветер?

Дочь отвечала ему с постели свежим утренним голосом:

— Он в трубе живет, бабушка Тася сказала. И там воет.

К трем часам они затихали — иногда даже до восьми. В десять приходила Симоновна, и я становилась свободна, как тот ветер в трубе, и проникалась нежной и восхищенной любовью к своим прекрасным, развитым, необыкновенно интересным детям. Но жизнь требовала производительной деятельности — я садилась перепечатывать на машинке огромную, тысячестраничную рукопись опального академика, который перевел чуть не всю древнекитайскую поэзию размером "Мцыри". Работа была нетрудная, даже веселая, грустно было только, что деньги я уже получила авансом.

А если оставалось время, я писала роман о своих одноклассниках, Додике и Дусе. Идея романа, и сюжет, и фабула — все у меня было. Любовь двух школьников, потом его измена, потом возрождение этой любви перед войной и война. Здесь должны были быть вечные вещи — любовь и верность, и смерть. И преходящие вещи — война, измены, предательства, фашизм. Антисемитизм.

У нашего друга — у того самого, которому мы задолжали триста рублей, — была тетя Маня, которая не верила в клептоманию. "Почему нет такой болезни — прийти и принести? — спрашивала она. — Почему есть такая болезнь — прийти и взять?" Некоторые мои ровесники вот так не верили в антисемитизм. Как самые простодушные атеисты не верят в Бога: — а что, ты его когда-нибудь видел?

Раз не видели — значит, его и не было. Конечно, когда-то там, где-то там, до нашего рождения, т. е. почти никогда. Но теперь? Смешно!

Я, про себя, подозревала, что все, о чем пишут в книгах, бывает в жизни. И поэтому ждала, с самого детства, любви и войны, парижских бульваров (где крошка Лиза продает весенние фиалки) и раздела Польши, ужасных родовых мук и дворцовых переворотов. Только насчет царя я раз навсегда поняла, что его нет и не будет — к огромному моему сожалению, ибо воспиталась я на книжках начала века, на русской патриотической литературе для детей ("А знаете ли вы, дети, что наша страна — тоже царствогосударство?").

В общем, всего я ждала, и потом узнавала в лицо, с изумлением и перехватом дыхания, но узнавала.

И антисемитизм узнала. Не сразу — потому что он подползал — или восставал — постепенно. Нам потом казалось, что первые сигналы звякнули в тридцать девятом, когда заключили пакт (вот когда мы и узнали в лицо раздел Польши), — а старые одесситы — ох, уж эти мне старые одесситы! — уже в самом начале тридцатых сложили библейский анекдот:

— Какое сходство между Моисеем и Сталиным?

— Моисей вывел евреев из Египта, а Сталин — из ЦК.

Мы, одесские подростки, знали этот анекдот, конечно, но до того ли нам было? У нас — наконец-то! — начиналась юность, с романами и сплетнями, с поцелуями (в одно касание!), с танцами (слоуфокс и танго: "Цигойнер, ду хаст майн херц гештолен!", "Вшистка мне едно!"). В Одессе юность — пора долгая: она начинается лет в двенадцать и потом все длится, длится; к пятнадцати годам все уже накопили воспомина-ния, разочарования и опавшие лепестки первого жизненного цвета... О неличном не разговари-

вали. Во всяком случае, до тридцать седьмого. Было общеодесское естественное согласие с формулой: вот что наделали эти бандиты Маркс и Энгельс. Но об этом не думалось — потому что не говорилось.

Разные другие Одессы шевелились, дышали, иногда таились рядом с нами. На Соборной площади, когда собор был не взорван, торговала книгами крошечная неопрятная большеглазая старуха: раз я услышала, что она разговаривала с покупательницей по-французски. Я тоже заговорила с ней по-французски — очень заманчива была эта неизвестная, тайная, прошлая Одесса, и она к ней принадлежала. Ее фамилия была Ренненкампф, она показывала маленькие фотографии: она, Ида Рубинштейн и Д'Аннунцио — Венеция, гондолы и огромные шляпы. "Она не была красивая, — говорила она об Иде, — но она была тоненькая-тоненькая (фин-фин-фин!)". По ее рассказу я потом узнала Иду на портрете Серова. "Я очень верующая, — говорила старуха. — И Господь, я знаю, воздаст мне за все, чего я здесь лишилась". Она была католичка, из еврейской семьи.

Эти несколько лет юности, когда бродят весенние соки... В этом неправильность в человеческой цивилизации — несколько лет весны, сплошной весны — как их выдержать и не свихнуться? Хорошо у зверей — весна кончается, а потом идет размножение, сразу же... Ни о чем не было мыслей, и вообще не до того было — важно было, кто посмотрел, и как, и "он сказал — она сказала", и — ах! — руки, губы, взгляды, ну, в общем, вы сами помните... Когда Додик стоял у доски, пристраивая хромую ногу (несколько лет назад неудачно прыгнул с лодки, а там был подводный камень), Дуся не смотрела на него — опускала глаза, только слушала, превраща-

лась в слух. Он тогда ухаживал за хорошенькой и не ясной нам белокурой девочкой из восьмого класса — потом он несколько лет с ней жил, но когда пришли немцы, там все сразу кончилось, осталась только Дуся. Он погиб. Дуся сказала мне:

— Не пиши об этом как еврейка.

Я хотела бы написать об этом, как Вера Панова, легко, иронично, спокойно по отношению к сексуальным эмоциям. Но слова не слушались, все время лезли "прядки", "единственные взгляды, которые выражали так много"... И мысли об этом самом еврейском, которого не надо, нельзя, бестактно, — не по цензурным соображениям, а по другим, важным, общечеловеческим...

Между тем мы в тот год только об этом и говорили — о еврействе.

Мы и раньше о нем говорили, всегда говорили — шутливо, совершенно не тревожась, во всяком случае, в области сознаваемой. У каждого, конечно, были свои сигналы-щелчки, предупредительные щелчки, вроде тех, которые раздаются в телефоне вашем, когда он подключен и прослушивается, щелчки-напоминания. У меня они щелкали в сороковом году несколько раз, но всего громче, когда я разговаривала с еврейской семьей (папа, мама, девочка Рут), перебирающей из Средней Европы в Швецию. В Москве я их встретила, в гостинице "Савой", и разговорились: вот, они едут в Швецию, потому что Рут такая способная, ей надо... Я спросила: "Рут? А что, вы евреи?" — "Да", — сказала женщина, высокая, стройная, очень европейская женщина, и покраснела. Это был щелчок, который я истолковала — вот, они краснеют, вот до чего их там довели. И на фоне сознания был Фейхтвангер, "Семья Оппенгейм" и "Экзиль", и только там это возможно, нет, все-

таки мы должны быть благодарны, ну и что, что могут арестовать, все-таки этого нет, не краснеем... Помню жадное любопытство свое к этой женщине и к другим подобным, видимо, богатым, которые проходили через эту гостиницу "Савой", пробираясь в Швецию, в Америку (для этих Швеция слишком близко), потому что через них, через их естество проходила, осуществлялась история литературы, история религии, история средних веков, в общем — История...

Конечно, мы не краснели. Помню, на первом курсе мы шутливо себя называли "нацбол". Не нацмены, а наоборот — нацбол. На нашем факультете мы, пожалуй, и были — нацбол. И в каждой среде, каждом узком социуме, где я оказывалась до самого тридцать восьмого года, до Испании, так оно и бывало. Да и в Испании мы, переводчики, тоже были своеобразный "нацбол" — но мы обслуживали других, настоящих, которых разглядывали с недоумением. Мы понимали, что они важнее нас, но изумлялись их чуждости, их гуманитарной необразованности, их темноте (тогда еще не говорили "серость"). Теперь я думаю, что мы, девочки, захвачены были врасплох неожиданным фактом своей сексуальной привлекательности для этих людей, таких взрослых; но главное удивление все-таки было — непохожи. Даже испанцы казались нам более похожими, сквозь чужие обычаи, повадки и, конечно, язык, законно чужой язык, а не тот язык, где слова были вроде бы знакомые, и только семантика чужая, на котором и говорили наши "консехерос"¹.

Нет, мы не краснели; просто нам ужасно хотелось бы быть русскими, и иногда мы принимали желаемое за сущее, особенно за границу. Там-то мы были русскими женщинами в Испании (хотя имена у нас, у девочек, были

как на подбор библейские!), а наши мальчики были русскими в Германии, когда вошли туда победителями. Наши мальчики, вчерашние студенты и аспиранты, германисты... Наши мальчики, германисты, гуманисты, всерьез считавшие, что пленных нельзя бить и безоружному населению побежденной страны нельзя мстить, поплатившиеся за свое вненациональное, наднациональное милосердие, иногда довольно серьезно — почитайте книгу Льва Копелева².

Потом они, наши мальчики, вернувшиеся с победой в Ленинград, собрались приступить к мирной жизни с того рубежа, на котором она была прервана. С аспирантуры, например. И оказалось — нельзя.

Одного помню больше всех: начал войну солдатом, кончил майором, начал войну комсомольцем, кончил коммунистом, начал юношей, кончил взрослым, серьезным, все повидавшим мужчиной. Студенческое его прозвище было: Энтузиаст. Нет, слишком много подробностей и историй о нем сейчас вспоминается, мы все были в него влюблены немножко, он был всем нам по-милу хорош, и простодушие в нем было какое-то пленительное. В Германии, среди побежденного народа, он тоже был таким, всем мил, потому что всегда был самому себе равен. И вдруг оказалось, что ему в аспирантуру обратно — нельзя.

У него обиды, помню, не было — было недоумение. А у нас, у остальных, было даже что-то вроде злорадства ("а не будь, не будь таким энтузиастом!"), вроде торжества ("я всегда говорил!"), но главное — главное было: вот оно! Вот оно! Вот оно, в лицо узнаем, теперь не скажешь, что его нет. Антисемитизм. Государственный антисемитизм.

Когда мы узнали его — мы называли его по имени, что было опасно.

Дети в детских садах, в начальных школах жалуются: он на меня обзывается! Воры рычат, с пеной у рта: он меня, такой-то, падлой обозвал. Не любит Калибан узнавать свое лицо даже в кличке. Кличка, название, имя. У древних народов были, кроме кличек, тайные, только родителям и жрецам ведомые имена. Ибо назвать — это познать. А познание — ну, сами помните, кто первый счел познание опасным.

Но восторг познания? Восторг узнавания? Вот же, это он, нам такой знакомый по Фейхтвангеру, по Эренбургу, по газетным статьям, вот он, всем понятный, государственный. Вот оно что: побежденные диктуют победителям свои законы! И мы в восторге ужасались, и только об этом и говорили, и острили, и шутили над нашим другом-энтузиастом, и над другими. Над двумя братьями, университетскими профессорами, один из которых был записан евреем, а другой русским; ректор вызвал старшего и в сердцах (ректор был человек горячий!) сказал: "Да наведите вы, наконец, порядок в своем семействе". Над профессором, который говорил: "Какой я еврей? Я воспитан на Пушкине...". Ему посоветовали: "А вы так и пишите в анкете — еврей, воспитанный на Пушкине!" Над Рабиновичем (Ивановым по матери), который поступал на службу в Публичную библиотеку как русский — и которому раздраженный кадровик сказал: "Да с такой фамилией я уже лучше еврея возьму!" И много-много, и всего припомнить не было сил! Был в этом некий восторг-страх; обычный, обязательный, всю жизнь сопровождающий, классовый, обывательский, описанный Афиногеновым, страх принимал новую форму.

Но не об этом же было писать в романе про школьную любовь и войну. Не про этот восторженный страх.

Мне хотелось писать про утро любви, которое, как было известно моему и предшествующему поколению, только одно и хорошо; из моих молодых современников это помнят только специалисты-литературоведы (Надсон все-таки вышел в малой серии "Библиотеки поэта"). Про гетто и гибель — потом, потом...

Но и утро любви не получалось — не хватало профессионализма и времени. Надо было печатать китайскую поэзию и через день ходить к Элизабет Арден, по ночам петь про солнце, ветер и орла, а по вечерам...

Пожалуй, каждый вечер, или почти каждый вечер, к нам приходил наш друг, тот самый, который дал нам в долг триста рублей; кандидатская ставка была не только у него, но и у его жены, и они только еще ждали ребенка. Он приезжал к нам на трамвае, по-тогдашнему считалось, что жил он далеко: это было еще до метро, когда Автово, Охта, Васильевский были дальними границами Ленинграда; тем не менее он приезжал каждый вечер — или почти — и мы разговаривали. Втроем. Он родился и вырос в Одессе и остался на всю жизнь одесситом, как Жаботинский, не стесняясь, не изменяя, не предавая, веруя, что Одесский городской театр второй в мире (о первом одесситы до сих пор спорят), а уж одесские девочки!.. Жена у него была одесситка, конечно. Он был член партии. И марксист.

И ум у него был строгий. Он был ученый-филолог ленинградского толка, то есть академический, не падкий на финтифлюшки. Но Одесса заострила этот академический ум. И одесская ирония его погубила. Не чувство юмора — с этим еще можно было бы прожить. Но ирония. "Не русское чувство". В самом начале пятидесятых московская учительница говорила мальчику,

фамилия которого звучала для нее подозрительно:

— Чему ты так иронически улыбаешься, Ви-
зен? Ирония — не русское чувство.

Ирония родила его лучшее произведение.

В 1948 году, когда в стране даже анекдотов не стало, он сочинил песню. На мотив "Стакан-
чиков граненых".

Стою себе на месте,
Держуся за карман,
И вдруг ко мне подходит
Незнакомый мне гражда-
нин. Он говорит мне тихо:
"Куда бы мне пойти,
Чтоб мог сегодня лихо
Я вечер провести?
Чтоб были-были бы девчонки,
Чтоб было-было бы вино:
А сколько будет стоить —
Мне это все равно!"
А я ему отвечаю:
"Последнюю вчера
На Лиговке малину
Закрыли нам с утра!"³
А он говорит: "В Марселе
Такие кабаки,
Такие там ликеры,
Такие коньяки!
Там девочки танцуют голые,
Там дамы в соболях,
Лакеи носят вина,
А воры носят фрак!"
Он предложил мне франки,
И жемчуга стакан,
Чтоб я ему передал
Советского завода план.
Мы взяли того субчика,
отняли чемодан,
Отняли деньги-франки
И жемчуга стакан.
Потом его мы сдали
Властям энкавэдэ.
С тех пор его по тюрьмам

Я не встречал нигде.
Меня хвалили власти,
Жал ручку прокурор,
И тотчас посадили
Под усиленный надзор.
А я с тех пор, ребята⁴,
Одну имею цель:
Ах только б мне увидеть
Тот западный Марсель!
Какие там девчонки,
Какие кабаки,
Какие там ликеры,
Какие коньяки!
Там девочки танцуют голые,
Там дамы в соболях,
Лакеи носят вина,
А воры носят фрак!

Песня была безупречна. Она постепенно вошла в фольклор, в самиздат, в тезаурус языка (я имею в виду "советского завода план" как клише). Студентом наш друг писал такие стихи: "...Но белые ночи и алые губы! Фиалки-глаза и костюмы шанжан!" Эти фиалки, прямо из романсной корзинки, стали у нас эталоном безвкусицы, одесской безвкусицы. Но стоит ли толковать о вкусе — о хорошем, о дурном вкусе? Главное — не изменять себе. И западный Марсель, где девочки танцуют голые — это поет сама Одесса, родная сестра Марселя, обнищавшая, но не унывающая, которая даже над собой умеет смеяться, над своим золотым, ришельевским, французским, старопортофранковским прошлым — и над средиземноморским богатым родственником.

— Ничего святого!

Неверно, святое у нее было. У ее детей — было. Она сама. Одесса. Бывала я на семейных праздниках, где провозглашался тост:

— За Одессу!

И все вставали — в с т а в а л и! — пили, без одесских шуточек, почти что молча. Как все равно у Гоголя: за Сечь!

Правда, эти тосты я слышала только после войны. От тех, кто вернулся. Но годы шли — и до самого последнего времени сверстники мои пили так.

За Одессу.

Ничего святого? Что-нибудь да было, у всех и у каждого. Но над всем "святым" можно было смеяться, не вынося его вон, потому что самое святое и была эта усмешечка, шуточка, возвращавшая одесскую меру вещей одуревшему, осатаневшему от серьезности миру. Над чем только не смеялась Одесса! Над нищетой военного коммунизма — бессмертная песня "Ужасно шумно в доме Шнеерзона". Над временными трудностями пятилетки: "Папочка — и мамочка — и доченька — и сын — Бегают — по городу — ищут — керосин" (на мотив "Конницы Буденного"). Над неоднократно освещавшейся в русской неподцензурной печати язвой, разъедающей советское общество. Встречаются двое: "А, здравствуйте, Абрамович!" — "Послушайте, Рабинович, теперь каждый второй человек провокатор. Я — нет. Значит, вы. До свиданья". Над собственным патриотизмом: "А Саша Пушкин тем и знаменит — ой, вей! — Что здесь припомнил чудное мгновенье". Над любовью: "Даму сердца там зовут Марухой, финки в ход пускают за нее — А прощаясь, говорят: затруха — завтра я беру тебя в кино" (на мотив "В лохмотьях сердце"). Над Сталиным и паспортизацией: "Иоська Сталин спекулянт — Паспорт получает — А я бедненький кустарь — Меня выселяют!"

И эту развеселую песенку про паспортизацию (на мотив "Фрейлахса" конечно же!), пела-голо-

сила Одесса на всех углах, во всех трудовых школах и фабзавучах в то время, когда народ — ну, не народ, а скажем, передовые представители уже начали слагать прекрасные песни о Сталине мудром, родном и любимом (кстати, какая же была первая о нем песня?)... А Одесса — родная сестра западного Марсея — она его не песней, а песенкой, песенкой! Да ведь ей только подай знак, безвкусной южанке, она уже расстается. Какое безвкусное кощунство — Сталина, эту огромную трагическую фигуру вот так: Иоська Сталин-спекулянт... Вот так просто — взять и обозвать! Одесса вечно "обзывается". За это ей... Пришлось все-таки дать города-героя. Нехотя давали. И — тоже под песенки. "Эх, Одеса, красавица у моря, эх, Одесса, ты много знала горя! Эх, Одесса, ты самый лучший край! Живи, Одесса, и процветай". Тоже на мотив "Фрейлахса", хотя "эх" тут какое-то грустное, некрасовское...

А потом и Одесса замолчала. Радио-официозы ее заглушили, румынские мелодии удивили, трагедия гетто надолго лишила дара речи. Какие-то унылые сетования раздавались в поездах после станции "Раздельная": "...только так говорится в Одессе: что я с этого буду иметь?". Пассажиры вежливо усмехались; сборов поездные певцы не делали. И то сказать — было бы за что платить!

И вдруг в самом глухом, ошеломленном, изумленном сорок восьмом году рассыпался по просторам родины чудесной колоссальный одесский "Жемчуга стакан". Все тут было — и тридцатые, и ревушие сороковые; и шпионы, и воры, и наши славные чекисты, и мечта о загранице, которая миф о загробной жизни. И оказалось — над всем этим можно, можно смеяться. А главная ирония была в том, что просыпался этот "Жемчуга стакан" в Ленинграде, битом-переби-

том, вечно крамольном, вечно унижаемом, сумрачном и невеселом, давно забывшем даже о своем Робин Гуде — Леньке Пантелееве. А тут вдруг — "...на Лиговке малину"... И каждые следующие две строчки в песне — неожиданность, подарок, взрыв хохота, правда.

Эх, назову имя нашего друга, была не была. Звали его Ахилл⁵. Была на него эпиграмма, на втором курсе сложенная: силами хил — в остальном Ахилл. Конечно, она сверху лежала, эта эпиграмма, в самом звуке удивительного для русского слуха мифологического имени. Он был сублильного сложения и невысокого роста, с красивой белокурой головой и мефистофельскими, хоть и белокурыми бровями. В университете его любили не многие — ирония штука ядовитая; одесситов в ЛГУ было раз-два и обчелся, они устремлялись в Москву, которая лучше их понимала. Одесские шуточки в Ленинградском университете порождали недоумение, доносы и персональные дела. Было и у Ахилла персональное дело — по дамской линии, — но совпало оно с тридцать седьмым годом, когда комсомол стал торопливо исключать из себя своих членов. К концу этой операции, по наблюдению того же Ахилла, членов комсомола оказалось меньше, чем исключенных, то есть меньшинство исключило из своих рядов большинство. За одно это наблюдение ему бы полагалось по тем временам — но руки не дошли; так что в конце концов получилось, что сам Ахилл исключил из комсомола его большинство. Война застала его аспирантом — в блокадном Ленинграде. В конце войны он был доцентом и работал в Публичной библиотеке. Почему в Публичной библиотеке, а не в университете, где он кончил аспирантуру? Да все потому же. Ректором университета был Вознесенский, родной

брат начальника Госплана СССР. Ахилл называл его "Персона Брата". Все очень смеялись. Все, кроме Вознесенского. И пришлось Ахиллу идти в "Публичку". Там он успел сделать серьезную работу — библиографию переводов Гейне.

И вдруг — "Жемчуга стакан". Мы в те времена много пели, может быть, чтобы не разговаривать? "Всем" стало подходить к тридцати, "все" уже как-то расположились в жизни, "все" собирались друг у друга в годовщину свадьбы и в дни рождения (тогда у нас еще не было принято отмечать семейно восьмое марта и революционные праздники) — сидели за столом, много ели, много пили и пели. Вот за одним таким столом и услышали мы в первый раз Ахиллово творение. Голос у него был высокий и фальшивый. Мы не смотрели друг на друга — чувство неловкости возникло от фальшивого пения и от того, что это было собственное сочинение. В те поры мы пели только чужое. "Чужие города" Вертинского, "Над розовым морем" его же, Блока "Я звал тебя, но ты не оглянулась", на веселый мотивчик и с отличным припевом "Не забывай, подруга дорогая, все наши чувства, мысли и мечты! Расстаемся мы теперь — но, милая, поверь — дороги наши встретятся в пути!". Все было давно утверждено и проверено. И вдруг какая-то блатная песня, да еще на мотив "Стаканчиков граненых", да еще фальшивым фальцетом.

"Чтоб я ему передал — советского завода план!" Мы испугались. Бестактность приняла опасные формы. И вдруг — счастливое разрешение: взяли они, взяли того субчика, ура, можно не бояться, и чемодан отняли, и деньги-франки... А потом пошли волшебные неожиданности: "...с тех пор его по тюрьмам — я не встречал нигде!", "...и тотчас посадили под усиленный надзор!", "...ах только бы увидеть мне тот западный Мар-

сель!..". Мы плакали от счастья.

Все это было в начале того самого сорок восьмого года — бескарточного года, года устройства в жизни для нас, почти тридцатилетних, перспективного года, когда в семьях решили, что можно рожать по второму ребенку.

У Ахилла была своеобразная, какая-то балетная походка — носки врозь и легкое как бы подтанцовывание. Этой подтанцовывающей походкой он входил ежевечерне в нашу кухню (ту, что следовательно впоследствии называл салоном), потирал с холоду маленькие руки — не шутка это, полчаса в неотапливаемом трамвае! — и говорил, усмехаясь:

— Слушайте, вы тут сидите, а я спас мир от еще одного Николая Островского!

Оказывалось, что он отговорил малограмотного инвалида от намерения писать воспоминания.

Мы садились пить чай, и он спрашивал:

— Ну, как твоя Лизавета? (Так он русифицировал мою прекрасную косметичку.) Взяли ее уже, нет? Ты с ней не очень беседуй. Если она, например, спросит тебя о Кравченко, об этом изменнике, который выбрал так называемую свободу...

— А про изменника я согласна с Костей Симоновым.

— Ах да, ты же согласна с Костей Симоновым. Между прочим, у нас была в гостях моя родственница-адвокат. Она сказала, что у одной пятой советских людей есть судимость. Или будет. Вот, на вокзале были, помнишь, когда тебя провожали, мы втроем, Костя Симонов и с ним этот, как его... Софронов, да. Получается — одному из нас не миновать! Косте Симонову, наверное.

И засмеялся. Не потому, что нелепым ему это казалось, а просто так.

Смешно? Смешно. Костя Симонов был в зените, сам Сталин его привечал. Ему было все можно. Когда в Союзе писателей громили попугаев Веселовского (это было прелюдией к космополитической кампании), попугаи еще защищались. Жирмунский заявил, что написал статью, но нигде ее не берут. Костя из президиума сказал негромко, без напора:

— Присылайте в "Новый мир".

И зал встрепенулся — может, оттого, что не запрещено еще спорить, и есть, куда послать, а может, от звука голоса человека, обласканного всесоюзной славой. О нем спорили, о нем мечтали. Фадеев, хоть и в славе, не так пленял воображение: он стоял на кафедре под ослепительными лампами, его узкое малиновое лицо под седыми волосами багровело постепенно от жара ламп и накипающего раздражения. "Ленинград всегда был оплотом формализма", — кричал он в гнев, устанавливая связь этой минуты с тем, что происходило в двадцатые годы, когда все были молоды — и рапповцы, и формалисты — и когда его недостаточно боялись. Он брал свой реванш за какие-то старинные обиды, о которых мы только догадываться могли, но он еще только катил первые бочки, первые камни с горы, не предвидя, как утверждают теперь его заступники в малохудожественной прозе, какую антикосмополитическую лавину они за собой потащат.

Да и кто предвидел? Кто ощущал на ухабах ритмы, чередования, напряжения, пульсации настолько, что мог бы предсказать направление событий? Кто мог слышать скрип старого колеса истории в журнальной перепалке грошил с терпеливыми интеллигентами? Ведь, вроде бы,

легчало. Возвращались и селились в Луге члены семей Изменников Родины — то есть жены, получавшие в тридцать седьмом году по пять и по восемь лет (те, кто получал десять, не возвращались). Шел слух, плыл слух, что возвращается Заболоцкий. Говорили о критиках, что сейчас они, конечно, про Недогонова пишут, а вот вернется Заболоцкий, тут они все сразу к нему хлынут, начнут кадить. Слухи о возвращении Заболоцкого шли так густо и нагнетали такие эмоции, словно он возвращался с острова Эльбы. Вертинский давал концерты, билетов было не достать, но мы доставали, и наконец слышали из первых уст:

Принесла случайная молва
Милые
и нежные
слова...

Легчало. Шли репарации: можно было купить заграничное женское белье не на толкучке, а прямо в магазине; шли трофейные фильмы с Зарой Леандер и Вилли Биргелем (по клубам, втихаря), шли радиопередачи о футбольных победах над "Арсеналом"; шли слухи о том, что весной снизят цены...

О да, о да, легчало.

Только Симоновна — няня наших детей — совсем собралась было вернуться в деревню, но съездила туда и испугалась. "Как же я там жить буду, там сейчас усе голодом сидят, ничего, ну ничего нету! Плакала я плакала, заколотила дом — и вот, опять к вам, если возьмете". Еще бы не взяли! Это было еще в сорок седьмом. Но то была деревня — сколько я себя помнила, всегда деревня голодала. Опухшие страшные люди сидели у дверей хлебных лавочек; няня

говорила, посылая меня за хлебом: покрепче карточки держи, там мужик голодный сидит, может вырвать. Мне было тогда одиннадцать лет — тридцатый год стоял на дворе; сатанинские ветры дули вокруг земного шара: чудеса социализма опустошали советские деревни, чудеса капитализма опустошали американские фермы. Каким-то образом даже изобилие оборачивалось голодом. В это невозможно было поверить — и мы не верили, знали твердо: газеты всегда врут.

Легчало. Я иногда приносила домой мандарины, иногда — яблоки. Чтобы дети не сидели без фруктов. По полкило. Симоновна брала в руки яблоко и вздыхала: "Есть же такие места, где этакое чудо растет. Яблочко! А у нас вот в деревне..." — "Да почему так, Симоновна, ведь на Псковщине яблоки растут!" — "А у нас Новгородчина". — "Да и в Новгородчине растут". — "Уж не знаю, как и почему, а у нас в деревне отродясь яблони не росли".

А я помнила: в детстве моем были апельсины из Яффы, куда уехал мой троюродный брат Муля. Он прислал мне оттуда письмо, в котором были слова: но даже апельсины приедаются... В это тоже невозможно было поверить.

— Там сейчас сажают эвкалипты, — рассказывал Ахилл. — Шесть миллионов эвкалиптов, по числу убитых евреев.

У Ахилла был приемник (у нас не было), и он нам рассказывал о том, что происходило в мире с точки зрения приемника. Про Касьенкину, русскую учительницу, которая захотела остаться в Америке, а потом передумала, а потом каким-то непостижимым образом выпала из окна советского посольства (газеты так и писали: выпала). Ахилл слушал ее выступление по американскому радио. Про Кравченко, который выбрал свободу, и написал об этом книгу, и подал в суд

на французскую газету за клевету... ”Как хотите, — говорила я, наслаждаясь своим конформизмом, — но все равно он предатель!” Мужчины не спорили. Только муж спросил как-то:

— А почему ты не думаешь, что он действительно выбрал свободу?

Это были те же слова, только по-другому сказанные. Но что такое свобода? Надо было решать все самим, если становиться на этот путь, — все, вплоть до значения простейших слов. А если вести себя спокойно, мирно, то значения слов давно уже решены и направления предрешены; Господи, разве мы все не меримся пятилеткой и не падаем, не поднимаемся с ней? Но пятилетка и все, что она мерила, — ведь это и был разум; а значения слов должны были определяться разумом, а чем же еще? Не грудной клеткой же?

Но грудная клетка отзывалась, как осциллограф, и притом на совершенно другие значения. На странное значение слова ”свобода”, не рациональное, иррациональное. На то значение, которое, если всерьез подумать, как нас учили, рационально, давно стало смешным. Только ”осознанная необходимость”. Скучно, ну и что? Зато логично. Уж мы ли не осознавали необходимость?

А грудную клетку трясло. Кравченко сказал: лагеря. Вернувшаяся из лагерей женщина, в прошлом номенклатурный работник (от нее, кстати, я впервые услышала тогда это основополагающее слово — номенклатурный) сказала: маньяк — про Сталина. Прилично одетый мужчина на улице сказал своей прилично одетой спутнице, негромко, печально, продолжая разговор: ”Да. Пятьдесят восьмая статья”. И все кругом, все кругом говорили: евреи. С разными интонациями. Но слово было в моде.

Муж пропустил меня в автобус впереди себя. Измученная блокадница прошипела: "Этот Абрам свою Саррочку!..". В "Стреле" Москва — Ленинград моряк говорил проводнику: "Евреи — нам что, пусть живут, только бы пусть бы от нас поскорее бы выкатывались, верно я говорю?". Проводник согласился почти без слов, почти одним кивком — он подметал. Погодин, драматург, и какие-то критики ругали какого-то Сурова — потом Погодин выпал, как Касьенкина, и все о нем забыли, а критиков стали ругать в каждом номере "Культуры и жизни". Уже и фамилии их стали запоминаться — Гурвич и Юзовский. Потом число таких фамилий стало расти. И появилось слово — оно уже прежде мелькало, рядом с попугаями Веселовского. Слово "космополит".

Но это слово мы помнили. Оно же было нацистское?

Грудную клетку трясло. От слов. И от этого трясения, перетряхивания всплывали вещи давно отложенные, почти забытые, почти погребенные в одесских воспоминаниях. Например, слова умнейшего немолодого одессита:

— Увы, национальная идея сильнее интернациональной.

Ахилл никогда этого не говорил. Он просто рассказывал новости.

— Слушайте, вы знаете, что писатель Яковлев о к а з а л с я?

— Ну да?

— Вот именно. Оказался Хольцманом.

С самого тридцать седьмого года глагол "оказался" не требовал дополнения: оно подразумевалось. В тридцать седьмом-восьмом подразумевалось: врагом народа. В сорок восьмом подразумевалось: евреем.

Опять задули сатанинские ветры вокруг земли,

и уже разоблачали евреев в Америке за то, что они коммунисты, а евреев в СССР — за то, что они антикоммунисты. И опять мы не подозревали, что ветры одни и те же, и не поверили бы, даже если бы нам рассказали. Но читали тогда Эренбурга, "Хулио Хуренито", и повторяли друг другу про заступ в тысячелетней руке и про словечко "нет", любимое еврейское словечко.

Наш приятель карел, который, естественно, считался русским, тоже марксист, думал вслух:

— У евреев ум в основном не синтетический, а аналитический. Как вам известно, есть время собирать камни, и есть время их разбрасывать. Время разбрасывать камни сейчас кончилось.

Для одних кончилось, для других начиналось. Критиков-космополитов забрасывали камнями в каждом журнале, в каждой газете, "Культура и жизнь" солировала — хор подхватывал довольно стройно под невидимую дирижерскую палочку. Мы диву давались: вчера критик, условно, скажем, Басаргин, воспел Ольгу Берггольц, сегодня он ее растоптал — зачем она сказала про блокаду: "Я вмерзла в твой неповторимый лед", — а на следующий день мы читаем в газете, что никакой он не Басаргин, а просто космополит Блюменфельд, который еще при враге народа имярек пресмыкался перед формалистами... держал руку... прославлял Хемингуэя... убивал Макаренко...

Симоновна рассказала, что вдова ее сына-летчика замуж вышла, приехала в Ленинград. Тоже дом свой заколотила. "Много там домов таких теперь стоит — а как же? Детушек-то кормить надо — а чем кормить? Хорошо, она корову свою успела продать, а он человек хороший, непьющий". Симоновна тоже каждый день приходила с рассказами. Про мальчика в трамвае — сидит, весь замерзший, и ни шарфика

на нем, ни рукавичек-дияночек⁶ — ничего, а мать с ним — лицо синее, и голос такой, как у мужика. ”Нагуляла, теперь пятьдесят рублей на него получает! Я с себя сняла рукавички-дияночки, ему надела, на руки его взяла, а она... Плохая мать”. Потом наш сын рассказывал эту историю от первого лица: ”Я с себя сняла рукавички-дияночки... Плохая мать!” И качал головой сокрушенно.

Появился в Симоновных рассказах постоянный персонаж — какой-то старичок к ним в опечитие прибился. Замерзший, несчастный, во вшах; они ему воду согрели, вымыли, отпарили и поесть дали; теперь каждый вечер приходит к ним, в углу на полу спит. Богомольный старичок такой. Все молится, да все: ”Бог тебя благословит”. Дети его из дому выгнали, из деревни он, близко от наших мест. А потом Симоновна пришла удивленная, и все удивляясь, рассказала, что старичка забрали, прямо из опечития забрали, и он, оказывается, старостой был где-то в ихних же местах. ”Мне начальник говорит — он большой преступник, мамаша. А я говорю: откуда ж мне было знать, преступник он или кто, вижу — старичок, вот я и... Вот, говорит, мамаша, вы видите — старичок, а он сколько народу, сколько партизан сгубил, а у вас, мамаша, сыны-то в армии были в советской, а вы вон кому помогаете. А я говорю...”

— В ответ на все эти происки, — сказал Ахилл, — нам остается только одно: держоко высать!

”Держоко высать” — это не опечатка. Будто бы кто-то так сказал на одном из собраний тридцатых годов, случайно оговорившись, с тех пор это вошло в наш тезаурус, как и ”О, Софокл!”. ”О, Софокл!” — это цитата. Была у нас такая студентка, ее называли Луи Каторз, ибо его парики она напоминала своим мелко вьющимся

волосом. В ней таились неистощимые запасы энтузиазма. В студенческой читалке она однажды подняла голову, зажмурилась и с наслаждением сказала:

— Какая светлая голова у этого Сталина...

Это было в тридцать восьмом. В тезаурус это ее высказывание не попало, но к ней уже стали прислушиваться с интересом. Мы были вознаграждены. Как-то раз она опять подняла голову от книги и воскликнула:

— О, Софокл! Какой это великий, по-настоящему великий, драматург!

Еще в тезаурусе нашем много лет сохранялось: "Припал иссохшими губами к этому светлomu источнику". Автор — Гликман. В тридцать седьмом году он ходил по факультету, нервно поживаясь. Его спрашивали: "Ну что, Исаак, как дела?" Он громко отвечал: "Светло, бодро, радостно!". Кто-то написал эти слова на обойной бумаге, как лозунг, и вывел подпись: Гликман. Лозунг повесили в самой популярной, шестнадцатой аудитории. Лев Львович Раков, элегантный красавец, в двадцатые годы друг Михаила Кузмина, потом сидевший, в тридцатые годы читавший у нас античную историю, потом сидевший, в сороковые после войны — директор Публичной библиотеки, потом... Так вот, в феврале тридцать седьмого года Лев Львович Раков картинно поднялся на кафедру, увидел перед собой лозунг, удивился, прочел еще раз и под хохот студентов спросил:

— Товарищи, кто такой Гликман?

Ему объяснили. Он хмыкнул и пожал плечами:

— Гликман!

— Надо же! — сказали бы мы теперь.

Гликман был велик. Много лет спустя я услышала, как совершенно незнакомый человек сказал про зад какой-то девушки:

Источник неисчерпаемых радостей для будущего супруга.

Это тоже Гликман.

Главный пропагандист гликмановских афоризмов преподает русскую литературу в Соединенных Штатах — наверное, он и туда их занес. Так распространяется культура.

Встреча сорок девятого года была шумная и нелепая — много народу, непрямо связанного между собой. Конечно, такая среда — рай для стукача; между прочим, слово это — "стукач" — тогда, мне кажется, не в ходу еще было. "Наседка" — да, существовало. Еще помню с детства: "провокактор". Это мама говорила при мне кому-то, понизив голос: говорят, что К. — провокактор! И еще, тоже с детства помню — "информатор". Есть еще древнееврейское — "мосэр" (от глагола "лимсор", передавать); еще есть новейшее (а может, вытасченное из сундуков эпохи "слова и дела") — "тихарь". Слова для этого понятия не выдерживают срока караульной службы — очень быстро проваливаются. Но валится одно — несколько других сразу же встают ему на смену; побеждает одно — но ненадолго. Только слово "стукач" каким-то образом достигло юридического совершеннолетия, а теперь и зрелого возраста. Может быть — из-за обмягчения полицейского режима в течение последних десятилетий? Семантические законы ведь тоже кое-что подтверждают.

Так вот — встреча. Стол тянулся через всю комнату квартиры, где мы никогда не бывали ни прежде ни после; кое-кого из тех, что были за столом, мы знали со студенческих лет, но они привели с собой других, которых мы без всякого удовольствия увидели впервые. Хорошенькая женщина, слегка поблекшая за восемь лет в Сибири (ЧСИР)⁷ привела подозрительного

военного в штатском, малюсенького, с еврейской фамилией и мягкими манерами. Разговора не было — был шум застольный. Потом были шарady (одна целая была "Космополит"). Потом пели: "Принесла случайная молва", "Флибустьеры", "Над розовым морем", "Донья Марикита" (в честь Испании), "Жемчуга стакан". "Жемчуга стакан" пели хором. Потом мы узнали — не получилась, не удалась!

Я приехала туда от своей Элизабет Арден. Она сделала мне маску, смыла ее, нанесла легкий грим и сказала с легким упреком:

— Думать не надо. Ни о чем не надо думать. Иначе — выброшены деньги. Вот, посмотрите на меня.

Я посмотрела, и вдруг мне почудилось, что в глубине синих эмалевых глаз ходят страхи и взмахивают хвостами, как рыбы. Один страх особенно заплескался, она опустила веки, отошла от меня и неубедительно засмеялась. Потом опять подошла и спросила тихо:

— Почему вы на меня так смотрите?

Я перепуганно пожала плечами:

— Да нет, вам кажется, я просто...

Она сказала:

— У меня вид плёхой?

— Ну, уж у вас-то всегда такой вид, как будто вы идёте на свидание. Ну, что вы!

Она смотрела на меня без удовольствия и даже попыталась сдвинуть брови. Это ей не удалось, и тогда она чуть-чуть выдвинула вперед нижнюю челюсть:

— Вы сегодня должны всю ночь выглядеть. Я могу вам дать — я все могу вам дать. Уже сегодня. Вот!

Я так и ахнула. Я получила вожделенную розовую коробку на кнопке! И еще разные бутылочки и баночки. Мне оставалось еще два сеанса

— а я все уже получила! Вот это новогодний подарок! Я горячо благодарила Элизабет Арден, она кивала; рыбы перестали бить хвостами.

Элизабет Арден стала бояться. Ну, что ж, значит, уже стала советской женщиной. Неужели боится меня? А почему бы нет? Я какая-то серьезная, не болтаю, а только слушаю, и вообще непонятно, зачем я вдруг именно сейчас занялась уходом за своим лицом, которому помогать явно не стоило.

Мне стало смешно — до чего же глупы женщины, только что, как кур в ошип, попавшие в социализм. Никто бы из опытных, из наших...

Да? Никто?

Никто.

Надо бы подумать, конечно, — зачем ко мне стала ходить некая Дуся. В университете она была старше меня, мы с ней и двух слов не сказали. И вдруг подошла к моему мужу в издательстве и сказала:

— Я читала Руфины рецензии в "Звезде"; знаете, я работаю для Совинформбюро, хорошо бы нам с ней было объединиться.

Вот мы и объединились и пишем вместе статью. Мне лестно: это уже не рецензии какие-нибудь, это настоящая работа... Да, но зачем ей я? А зачем мне об этом думать? Все равно я ничего себе не позволяю... А почему я просто не прогоню ее под каким-либо предлогом? Мне, правда, всегда нравилось на нее смотреть: милое смуглое лицо с родинками, бархатные глаза...

Да ну, этак и маньяком стать недолго. Да, а вот почему нашему московскому знакомому приятель посоветовал с нами не очень-то? Что это значит?

Меня это мучило. Перед самой встречей Нового года я позвонила в Москву своей подруге.

Я не упомяну ее больше, хотя свет и тепло

нашей жизни и тогда и много лет потом шли от нее. В конце концов, кто же в романах пишет о верной службе солнца? В лучшем случае оно отбрасывает на создаваемую картину косые лучи, когда встает и когда садится. В поэмах — бывает; бывает, оно даже на дачу приходит. И к нам приходило, приезжало из Москвы, не очень часто. И вот, я позвонила по телефону и сказала:

— Я беспокоюсь. Помнишь то, что сказал тебе твой друг-журналист, что ему не посоветовали с нами дружить?

— Да? — сказала она.

— Но ведь это значит, что советовавший о нас очень плохого мнения?

Яснее нельзя было сказать по телефону, что, значит, он считает нас "работающими".

Она минутку подумала (хотя телефонная минутка стоила дорого) потом так и покатилась со смеху:

— Да нет же, это значит совсем-совсем другое. Я с ним говорила. Он просил тебя поцеловать, ты ему очень понравилась, между прочим.

Очень было приятно, что понравилась, я больше ни о чем не расспрашивала. И телефонный разговор уже кончался к тому же; и значит, это совсем-совсем не то. Тоже новогодний подарок.

Да, это значило как раз обратное: что мы под наблюдением, и потому общаться с нами небезопасно. Но я узнала об этом только через двенадцать дней, да и тогда не связала с предупреждением журналиста. Оно шло, так сказать, по другому ведомству. В молодости ведомства строго разделены, и около каждого стоит пограничник.

Мы знали, что о нас спрашивают. Нас это не особенно беспокоило: подумаешь, а о ком не спрашивают? Надо же им знать, чем люди дышат. Кто о ком может рассказать, о том его

и спрашивают. Для картотеки.

Это до нас доплыло еще летом, на дачу: спрашивают. Спрашивают совершенно неожиданных людей: например, того, кого мы в студенческие годы звали Энтузиастом. Он сказал, что очень мало нас знает — что соответствовало действительности, потому что мы уже года два почти не виделись. Через общих друзей он довел все это до нашего сведения и, чтобы не показаться обманщиком в глазах органов, совсем перестал казаться глазами.

Спрашивали мою однокурсницу, с которой мы никогда не дружили. Тоже летом. Уж и не помню, что она такое отвечала, но мы с ней за последние десять лет не сказали и десяти слов. Во всяком случае и она как-то довела это до нашего сведения.

Мы сердились, но более для приличия, и, пожалуй, даже были польщены: вот, значит, и мы становимся видными людьми. Ведь если органы тобой не интересуются — значит, у тебя просто нет социального статуса.

Мы ждали, когда нас вызовут, чтобы и нас расспросить о ком-нибудь. Просто так, для картотеки. Должны же органы знать, чем мы дышим. Учреждение — оно и работает как учреждение, верно? Спросят нас о ком-нибудь, мы скажем, что почти его не знаем, потом передадим ему, что — спрашивали...

Никто нас не вызывал, однако мы и по этому поводу не огорчались, да и некогда было. Каждому дню довлело многое множество забот; если мерить заботами, то мы жили тогда очень полной жизнью. К тому же оказалось, что я беременна.

Сомнений не было никаких: третьего ребенка рожать некуда, надо делать аборт.

А аборт запрещен, с самого тридцать ше-

стого года, после всенародного обсуждения, широкой дискуссии, чуть ли не референдума. Помню строчку стихов на случай (кажется, Долматовского⁸. Он тоже специализировался на интиме):

— Послушай, а если он будет Моцарт?

Меня никто не уговаривал — все понимали, что нельзя. Сына я себе отпросила у родителей мужа, с которыми мы жили вместе. Но третьего ребенка — в шестнадцатиметровую комнату?

Потому, может быть, препараты Элизабет Арден недостаточно меня украшали. Но даже смотреть на них было приятно. Вскоре после Нового года я опять пошла к ней — считала, что просто обязана, как честный человек. Она мне удивилась, но стала делать все, что нужно; мы разговаривали, глядя в зеркало. Она сказала задумчиво:

— Я думала весной к сестре поехать, а говорят нельзя. Я перед войной всегда так: раз в год ездила к сестре.

— У вас сестра в Америке?

Она засмеялась, но коротко.

— Почему — в Америка? Почему все думают — у меня сестра в Америка? У меня никого нет в Америка, я даже никогда там не бывала, в Америка. А меня все спрашивают, все говорят...

— Извините, я не хотела...

— У меня сестра в Швейцарии, — сказала она. — Лозанн. У нее аптека — прекрасная фармаци.

Этот день начался со звонка молочницы в дверь. В то время молочницы еще ходили по квартирам, во всяком случае на Петроградской стороне. К нам ходила молочница Маша, финка с проваленным носом, та самая, которая ходила и до войны. Иногда звонили другие молочницы — которые только искали клиентуру. В этот день позвонила именно такая, незнакомая молочница, было десять часов.

И когда раздался звонок — я сидела на кухне, — у меня в мозгу четко вспыхнули, пробили, отстучали слова:

— НКВД? Рано.

Словно кто-то мне их протелеграфировал — потому что они меня испугали, эти слова, я даже не сразу их поняла, и слово НКВД к тому времени устарело, наркоматов — НК — уже не было, были министерства, и министерство, которого все боялись, называлось МГБ, министерство государственной безопасности, но я его еще и не боялась, я боялась так, как все, и потому удивилась сама на вот эти простучавшие в мозгу слова. Я только сразу уже тогда поняла, что слова эти не были мыслью, они были откуда-то приняты.

И, конечно, оказалось, что это молочница, и очень мне самой стало смешно, и я уже думала, как вечером об этом расскажу.

А потом позвонил телефон, я подошла, и трубка сказала женским медленным, чуть капризным голосом:

— Не называй моего имени.

— ...

— Ты можешь прийти в одиннадцать часов к коммиссионному магазину на Невском?

— Могу.

— Я тебя там буду ждать.

Было десять минут одиннадцатого.

Я вернулась на кухню, собрала свои бумаги, перешла в комнату — у меня было еще полчаса. Мне не хотелось суетиться и приезжать туда слишком рано тоже не хотелось. День был обычный, ленинградский, промозглый, но не морозный.

Мне ничего не хотелось делать.

Но чего я так испугалась?

Ну, опять скажет, что спрашивают. Не

она первая, не она последняя. А устраивает все так конспиративно, потому что муж ее партийный и делает университетскую карьеру.

Я ее знала со студенческих времен. Встречались мы не очень часто — жизнь пошла по разным путям. Но встречались; она мне нравилась — и лицо, и голос, и речи — умные, насмешливые речи; отродясь мы ни о чем таком политическом не говорили, только судачили о евреях, которых туда не принимают, сюда не принимают, и я делала широкие исторические обобщения.

Чего я так испугалась?

Может быть, того, что ее звонок почти совпал с той психограммой? А чему удивиться: она тревожилась, не знала, звонить ли, сомневалась — и все это на неведомой волне дошло до меня, я случайно настроилась на прием.

А как она боялась. И как преодолевала!

Бессонный, в пот вгоняющий, смертный страх. Страх человека сорок девятого года, нашего ровесника, — это страх в квадрате, в кубе. Это смутный детский страх первых революционных лет, помноженный на ретроспективный страх тридцать седьмого и возведенный в новую зную степень. К концу сороковых годов нам уже было что терять. И не на время, а навсегда. Появился к концу сороковых годов некий коллективный, внелично добытый опыт: от туда не возвращаются. То есть иногда на краю стокилометровой зоны возникают призраки — Эвридики, — но ненадолго, очень скоро они опять проваливаются туда, в тартарары, в жилище теней, потому, вероятно, если тут есть человечески объяснимое "потому", что они, Эвридики, оглядывались и вспоминали, и это становилось известным, и Церберы хватили их и уводили, увозили снова... "Все там будем" — звучало тогда кон-

кретнее и страшнее. И хотелось этому не верить. Как это — все там будем, если только сейчас начали жить? Раньше была первая пятилетка, а потом вторая, а потом война. Ведь только сейчас вздохнули, даже не вздохнули, а так, исподтишка дух перевели, и уже не тридцать седьмой год тут не хватают без разбору, надо, главное, не болтать...

И она преодолела этот, возложенный на себя во имя жизни и своих, обет безмысленного молчания и после бессонной ночи, ни с кем не посоветовавшись (еще бы! умножить опасность!), не понимаю, почему, не понимаю, как, позвонила мне из автомата.

А если и не все мне сказала — все-таки, на пятьдесят-то процентов ее хватило.

— Не называй моего имени, — сказала она как-то жалобно.

Кто вы, читающий это сейчас? Сколько вам лет? И почему это вам интересно — а вам интересно, раз вы дошли до этой страницы. Если вы мой ровесник и жили в эти годы — да нет, пусть не в эти, пусть в более ранние годы — в Советском Союзе, в России, то вы что-то свое вспоминаете, такое же горькое. Не может у вас, мой читатель и ровесник, не быть таких воспоминаний. Тот, у кого их нет, и не начинал читать эту повесть, а если начал, то не добрался до этой страницы. Разве что по долгу службы.

Но если по долгу службы — то не стоит. Ничего тут нет такого, о чем органам неизвестно. Им ведь "все известно". Разве только они забыли и вспомнить хотят. Но это как раз самое не ихнее дело — воспоминания; не чужие, конечно, воспоминания, а свои. Свои, собственные воспоминания — это сознание, виновата, самосознание. Которое и есть совесть. На некоторых языках для наших двух слов — сознание и совесть

— нашлось только одно. То ли от бедности, то ли от скупости.

А если вы не ровесник мне, а моим детям, да еще выросли не там, не в тех городах, и с детства слышали не Дунаевского с Тихоном Хренниковым, а буги-вуги? Или рок-н-роллы? Или "диско"? И вы дошли до этой страницы?

Мне всегда ужасно хотелось знать, что делала моя ровесница, моя единоплеменница, похожая чем-то на меня, в тот январский день сорок девятого года в городе Нью-Йорке.

И — вот что ужасно! — я легко могу себе представить, что у нее утром позвонил телефон и знакомый голос сказал ей... Ну, не обязательно "не называй моего имени", но что-то похожее, предостерегающее... И встретился с ней обладатель — или обладательница — этого голоса где-нибудь в супермаркете на Сорок второй улице — а были уже в те времена супермаркеты? — и она слышала, что т а м о ней спрашивали. Там — то есть в комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. Мы-то знаем теперь, чем это было чревато. Да, ей не грозила Колыма, не грозило лишение материнства — но и ей было что терять, и она оказывалась одна против железной государственной машины.

Ибо одни и те же полоумные ветры дуют вокруг нашего шарика, нашего зеленого космического корабля с голубыми парусами.

Кто бы вы ни были — пойдете со мной, милый читатель, добравшийся до этой страницы. Побываем вместе в Ленинграде. На тех нескольких улицах, которые и есть Ленинград. И даже если вы жили в переулке на Пороховых и знаете там каждую щербинку на старом, еще довоенном асфальте, все равно для вас Ленинград не Пороховые, а вот эти самые десять-двенадцать улиц. Многое изменилось за эти тридцать лет, даже на

этих улицах, но все равно, вы их вспомните...

Выйдем во двор дома на Добролюбова, 19. Дом стройки начала века, доходный, добротный дом; в зиму тридцать седьмого — тридцать восьмого года у его ворот каждую ночь надолго останавливались черные тихие, как совы, машины — и когда они, наконец, отъезжали, в них становилось на одного пассажира больше. Именно из этого дома навсегда увезли ректора университета Лазуркина, "друга Бухарина", как говорили, а потом шептали. Там была такая парадная с улицы — с зеркалом, с ложей для швейцара, с барской просторной лестницей... По этой лестнице и выводили из дома Лазуркина и других. Это, конечно, не был дом Политкаторжан — помните большой такой дом, у Невки, самый видный на Петроградской? — который, говорят, совсем опустел, но и тут, на Добролюбова, 19, немало освободилось квартир. Правда, ненадолго, видно, очень хороши были квартиры по той лестнице. В мое время там жил командующий Балтфлотом Трибуц с очередной молодой женой, и семья генерала, служившего в оккупационных войсках: жена в чернобурках, хорошо воспитанные, хорошо одетые дети.

Мы не на этой лестнице живем, наша лестница со двора, темная, пахнет щами. Мы пройдем мимо фонтана, который ни разу на моей памяти не бил — три унылых каменных жабы высохли и почернели. Двор-колодец, шестиэтажные стены смотрят друга на друга большими печальными окнами; двор — асфальтовая пустыня — ни травинки; двор, где гуляют интеллигентные ленинградские кошки. Потом арка, длинная, как водопроводная труба — и улица. Проспект. Он влажно шумит ветром и деревьями, у него широкий дореволюционный тротуар и у него есть "та сторона". "Та сторона" — без домов;

травы, деревья, трава и подальше — цветоводство, где даже в послевоенные годы вы могли на Веру-Надежду-Любовь купить осенние астры в горшках. Там, "на той стороне", гуляли бабушки с детьми; через двадцать лет студент спросил у однокурсницы: "Неужели ты меня не помнишь? Ведь мы с тобой из одного дома, мы гуляли на "той стороне".

Сейчас, когда мы с вами выходим туда, милый читатель, там слякоть, грязь, и нет травы, и деревья черные на сером, и воздух доносит сладковатый, вязкий, в рот заползающий запах с ближнего Ватного острова, где ГИПХ, Государственный институт прикладной химии; но это воздух, влажный, мокрый, дрожащий от капель, которые пока еще холодный пар, и кроме ГИПХа он пахнет географической и литературной Невой. И сейчас, сейчас мы выйдем с вами на Неву, на мост Строителей, который еще на старом месте и не упирается в бывшую таможню — нынешний Пушкинский дом; под ногами мокрые деревянные доски, а под досками и за перилами, направо и налево, серая, тусклая, свинцовая, поблескивающая, тяжелая, самая нежная, самая мягкая в мире Невская вода... Дышите, читатель, дышите вместе со мной беснежным январским утром сорок девятого года, потому что мы уже перешли мост Строителей; дышите вместе со мной блаженной городской сыростью, гнилым и теплым западным ветром, топчите химически-черную жесткую грязь на каменном Дворцовом мосту, смотрите по сторонам — тут дома, забравшиеся на вечный покой между желтыми лапами Адмиралтейства, а там длинный фасад Зимнего, а там, где летом густые зеленые купы, сейчас один шпиль, игла без ушка, — но главное, дышите. Потому что очень скоро, через несколько сотен моих неши-

роких шагов дышать станет нечем. Еще один вдох — ГИПХом уже не пахнет, он остался за спиной, только влажность и западный ветер.

Она ждала меня у комиссионного и сказала:
— Уезжай куда-нибудь.

И заплакала.

Между тем утром у комиссионного магазина и нашим арестом прошло восемьдесят пять дней. В промежутке — 15 февраля, в день моего рождения — был арестован наш друг; "Жемчуга стакан" так и остался его марсельезой, больше он песен не писал.

Мы готовились. Мы жгли нашу переписку из родильного дома — и толстую югославскую книгу, с портретами всех членов клики Тито; откуда закатилась к нам эта пороховая бочка — уже совсем другая история, которую я когда-нибудь расскажу. Мать мужа, в прошлом бундовка, потом эсдечка, уничтожила письма Карла Либкнехта. В самих письмах не было ничего предосудительного, только немецкий язык, и — адрес: они были адресованы г-же и г-ну Радекам: свекровь моя некоторое время состояла с Радеком в гражданском браке.

Она тогда была революционерка, социал-демократка; у нее была партия, платформа, программа.. А что было у нас? Только трагическое несогласие и тревога.

— Слушайте, — говорил Ахилл, — о чем советской власти беспокоиться, не понимаю! Ведь ни у кого нет положительной программы. Нельзя же бросить лозунг: назад к капитализму, который есть светлое будущее всего человечества!

А в это время уже сидели в лагерях школьницы, мои будущие подруги, за общество "Назад к Ленину!" и "Союз друзей свободы". Сидели сионисты — старые и новые. Но не было в лагерях участников правозащитного движения — потому

что не было еще этого движения, не пришло ему время. В странном нашем негласном общественном договоре с государством мы молчаливо признавали за ним права и обязанности, а за собой — только обязанности.

И накануне своего ареста Ахилл рассуждал:

— Кому в России давали право жительства? Я с точки зрения черты оседлости говорю. Ремесленникам и купцам первой гильдии. Что же мы должны делать? Купцом уж ты не можешь быть, но ремесленником... Пора нам изучить какое-нибудь ремесло. Если бы знать ремесло — может, и можно было бы куда-нибудь уехать. Например, в Лодейное поле. Или в Вологду. Или в маленький город под Одессой, который когда-то назывался Елисаветград, потом Зиновьевск, потом Кировоград: там с самого тридцать седьмого года спасалась моя школьная подруга, которая в тридцать третьем году сделала блестящую партию и вышла замуж за члена Украинского правительства. И спаслась ведь!

Но мы ничего не умели. Особенно я. Я не умела даже готовить, даже ходить за детьми — ведь я выросла в эпоху домработниц. О кройке и шитье... Да ну!

Но в глубине, там, где шевелятся настоящие желания — или вожделения, — желания уехать не было. Было: будь что будет. Было: авось пронесет (тут же прогонялось, потому что вслед за этим непременно возникал какой-нибудь зловещий симптом). Был привычный страх и были пароксизмы. И было уже совсем в несознанке — любопытство. А — как т а м?

В сорок девятом году во внутренней тюрьме служил корпусной, его... чуть было не сказала: все любили. Ну, не знаю, как сказать. Скажем: все хвалили. У него был задумчивый голос, он, бывало, заглядывал в женскую камеру и укориз-

ненно говорил: "Что же вы так расшумелись, ведь тут люди работают, а вы мешаете".

Когда этот корпусной впоследствии выводил меня на этап, я сказала:

— Не поминайте лихом.

Он ответил:

— И вы нас не поминайте. Что ж мы — у нас служба такая.

Так вот, этот самый корпусной, когда впервые вел меня в камеру по цирковым трапециям внутренней тюрьмы с белыми сетками внизу, это мое любопытство почуял и спросил приветливо:

— Вы уже бывали у нас?

Как гостеприимный житель Тархан спрашивает:

— Бывали уже в нашей деревне?

Не без гордости за деревню, которая к очередному юбилею покрылась шифером.

Я думаю, он мог бы рассказать, когда, в каком году, по какому случаю натянули в пролетах этажей эти цирковые белые сетки. В камерах рассказывали — после того, как бросился вниз ректор университета Лазуркин. Иногда назывался другой кто-нибудь, но непременно известный. Мы, безвестные, обреченные на растительную жизнь и гибель, словно бы вырастали от общности судьбы с ними. Чем только ни кормится тщеславие!

И любопытство. Евины дочери, мы все, и в общей камере Большого дома, и потом, на пересылке, со страстным, неутолимимым, неутомимым любопытством расспрашивали:

— Как т а м?

Тюрьму мы уже знали. Мы к ней — странно сказать — привыкли. Нас пугала и манила другая черная дыра: лагерь.

Да, и нам рассказывали про лагерь, кто во что горазд. Больше всего нас удивила пожилая бухгалтерша:

— Лагерь — это маленькая воля, — сказала она.

Она сидела на Воркуте, и ее прислали сюда для очной ставки с кем-то.

А мы-то пуще всего боялись лагеря. Нам казалось, если бы вот так, без тяжелых работ (мы, городские, еще не знали выражения: в тепле), — можно было бы и на тюремных щах, на рыбьей кости...

И все-таки — любопытно было. Раз ты уже здесь — по дороге в преисподнюю, то смотри по сторонам и старайся увидеть побольше. Для чего? Кто знает.

В лагере на Дальнем Востоке был надзиратель Тарасов. Он рассказывал про какие-то совсем страшные лагеря, где люди прикованы к тачкам и так спят, у тачек. Правда ли? Или страху напускал? Или приказано им было сеять эти слухи, чтобы чувствовали благодарность, что они еще, спасибо, хорошо живут, не то что кандалов и тачек — номеров даже не носят. И чтобы держались за свое благополучие.

Может, если и вправду были такие лагеря, то и там что-нибудь такое рассказывали. Про последние, самые преисподние круги, про лапы самого Вельзевула. Не знаю, людей оттуда никогда не встречала. А любопытно было бы. Самому Данте было любопытно, а он ведь мужчина, и даже политический деятель был...

Я ехала в троллейбусе номер один по Невскому, в "Европейскую". Мне "было назначено" у моей Элизабет Арден. И, что бы там мне не предстояло, проведу у нее несколько журчащих часов. Хорошо. Сидеть, закрыв глаза, и чувствовать на своем лице ее пахучие руки и кремы. И вести вдумчивую беседу! О гусиных лапках и мимических морщинах. Тихо, тепло, радио поет

”На честном слове и на одном крыле”...

Дверь косметического кабинета была настежь, и оттуда доносился веселый металлический стук. Рабочие снимали батареи и перегородки.

— Ремонт! — отвечали они мне. — А откуда мы знаем? А вы спросите...

Кого спрашивать?

Я спросила гардеробщика, инвалида. Он пожал безруким плечом, цепко посмотрел мне в лицо, словно запоминал, и сказал:

— Не знаю, не знаю, нам не говорят, мы люди маленькие. Вот еще одна идет, из ваших, вы ее спросите.

”Тощая корова” шла ко мне, в незнакомом темно-зеленом пальто, страдая всем лицом, закатывая глаза.

— Вы уже знаете? — спросила она трагическим шепотом.

Я кивнула.

— Пойдемте!

Она схватила меня под руку и потащила к лестнице, нашептывая:

— Вчера забрали. Прямо с кабинета. Мне дежурная по этажу сказала, она моя знакомая. Прямо с кабинета. Хорошо хоть, нас с вами не было! Да, вы уже закончили курс, получили все, а мне еще три сеанса оставалось. Подумать только! Но кому же верить? Ведь, казалось, уж здесь, в ”Европейской”, все такие проверенные! Как же они прошляпили? Ну, им теперь мало не будет.

— Кому им?

— Как это — кому? Отделу кадров, директору, словом — всему начальству. И ведь всюду, всюду!.. Думают, мы войну выиграли, так можно уже потчевать на лаврах!

Именно так и сказала — потчевать.

Мы втиснулись вдвоем в сегмент враща-

ющей двери и вылетели на широкую асфальтовую ступеньку, как две пробки.

Высокий старик в заграничном пальто с непокрытой головой повел бровью и скользнул в дверь. Тошая вздохнула:

— Ездят-ездят, а потом оказываются шпионами. Зачем только их пускают.

Это был такой хороший день!

Благовещение. "На волю птичку выпускаю..." Жаворонки когда-то были в булочных — такие булочки-птички, с изюмными глазками. Жаворонка не выпустишь, конечно, но, может, купить живую птицу? Я ходила по Ситному рынку и присматривалась. Клетки, большие и маленькие, с маленькими птицами, которых, может, и держали специально к этому дню. Да, но зачем мне покупать клетку? И дорого. Муж мой к этому времени уже потерял полставки, да и в издательстве положение было ненадежно. После ареста нашего друга было ясно, что теперь настала его очередь, — до того ясно, словно он эту очередь сам занимал.

Со мной было не так ясно, даже мне самой. Настолько, что друзья, с которыми мы устроили военный совет после ареста Левинтона, просто отмахивались: "Тебя-то не возьмут! Будешь стучать на машинке своему китайцу!" И вот этого-то я и боялась больше всего. Не машинки — жизни. Жизни с двумя детьми в семье мужа. Жизни среди людей, которых пока "не коснулось". Жизни и ее ни с кем не разделенных забот. Очередей у окошечка тюрьмы. Очередей у следователя. Страху сказать где-нибудь не то. Страху не сказать то. Страху слова, молчания, действия, бездействия... Я уже не могла и не хотела делать выбор, не способна была на выбор, который и есть жизнь. Я не способна была на жизнь. Я была готова для тюрьмы.

Так я и не купила в тот день, шестого апреля, птичку, чтобы выпустить ее на волю. Я даже подумала: а нужна ли ей эта воля, все равно другие птицы заклюют как чужую. И не купила. Шла домой по саду Госнардома, мимо Зоологического, где так часто бывали с детьми, мимо гуляющих, в обшарпанных темных пальто, с просветленными весенними лицами, и думала словами, что они останутся и будут гулять тут и тогда, когда меня не будет, через месяц, через год, через десять лет, вечно... Оборванец с голубыми от весны глазами подошел и сказал твердо:

— Помогите, чем можете!

И, когда я стала рыться в сумке, торопливо уточнил:

— В разрезе рубля.

Память подводит — я уже не помню, сколько тогда стоило полбанки. Не хотелось уходить в темную подворотню с сияющей апрелем улицы.

Когда прозвенел звонок, которого я ждала столько месяцев, я его не узнала. И когда коротенький человек в штатском показал мне красную книжечку гебешника — тоже не узнала. Он приветливо сказал, что мне придется с ним поехать, ответить на кое-какие вопросы, и я решила, что меня наконец-то тоже решили спросить. Я оделась. Дети вышли в переднюю провожать. Дочка, подпрыгивая, подозрительно спросила:

— А мама куда идет?

— Вернется мама, вернется, — весело ответил коротенький человек.

Я подумала: сколько раз ты, наверное, это говорил, зная, что мама не вернется! И все равно не узнала.

— Вызовем такси? — предложила я.

— У меня машина. И махнул рукой: ну, что вы!

Машина ждала у ворот. В ней оказался еще

один человек, у него было железное лицо из советского военного фильма. Я весело поздоровалась, он ответил. Коротенький сел с шофером, я — рядом с этим вторым. Мне показалось странно: коротенький был чем-то очень доволен и все посмеивался, старался вовлечь в веселое настроение второго, но безуспешно. А второй человек, куда более интересный, вел себя так, словно рядом не молодая женщина, а пустое место. Что-то я сказала про погоду — он ответил односложно, не поворачивая головы. У меня почему-то зашумело в ушах. Господи, они будут спрашивать про Левинтона, надоумь меня, как отвечать! Вразуми! Я молилась и смотрела в окно на тающий под апрельским солнцем ленинградский снег, а шум усиливался. Мы подъехали не к главному входу, а к огромным воротам на боковой улице — на улице Воинова — и машина загудела, и ворота медленно пошли в сторону, и мы медленно въехали, и я увидела человека, который крутил большущее колесо — ворот. Что-то подобное мы видели недавно в американском фильме про "Али-бабу и сорок разбойников", колесо вертели, надрываясь, рабы, а тут управлялся справно одетый и обутый солдат. Приоритет! Однако тут и коротенький перестал со мной разговаривать, как-то вдруг отдалился. Да я бы его и не слышала, из-за гула в ушах. Я только смотрела — вперед и по сторонам. Мы вышли, куда-то вошли, лестница, потом узкий коридор, недлинный; я смотрела, старалась запомнить, чтобы знать, рассказать, описать — но так и не запомнила ничего, ни стен, ни количества ступенек, ни длины коридора. Мы подошли к какой-то небольшой двери, и Железный бросил мне через плечо:

— Подождите здесь.

И я села на стул и раскрыла книжку Голсуорси,

которая у меня была с собой: "Через реку". К этому я была готова — что придется подождать. И гул в ушах стал ровнее. Это уже бывало — сидеть и ждать с книжкой, когда примет начальник. Но, кажется, я просидела недолго. Железный открыл двери и кивнул головой. Я вошла, села; помню перед собой какие-то деревянные перильца, за которыми стоял Железный. Он подал мне — нет, вручил! — бумагу: большой лист, плотный, на котором все было напечатано типографским способом, — только мое имя, отчество и фамилия были напечатаны на машинке. Я увидела крупные, жирные, черные буквы: ОРДЕР НА ОБЫСК И АРЕСТ.

Гул взорвался — и его не стало. Словно кто-то огромной подушкой накрыл мне голову.

"Гул затих, я вышел на подмостки..."

А моя Элизабет Арден?

Я так и не увидела ее больше. Наши пути не скрестились, ни в общей камере, ни на пересылке, ни в лагерях. Хотелось бы мне закончить этот рассказ встречей где-нибудь на дальнем Востоке, в Райчихинске или на Средне-Белой. Но нет, не было этого. И в послезападных рассказах попутчиков и попутчиц моих по "крутому маршруту" она не проступила. Вспоминала я — и не без горечи — когда видела в зеркале белые на темном морщины, похожие на трещины:

— У вас ошшень, ошшень сухая кожа.

Но почему-то иногда она мне снилась. Я дивилась — вот уж, казалось бы... Потом заметила: после такого сна непременно бывает что-то хорошее: письмо придет, или на работу не выгонят, или еще что-нибудь — мало ли радостей! Стала я стараться думать о ней перед сном — но нет, снилась только, когда я не старался. Бывало, приснится, когда и ждать ничего хорошего не приходится — ан нет, не обманет!

В последний раз она мне приснилась 12 июля 54-го года. Уже четыре женщины ушли от нас досрочно, чего никогда с нашей пятьдесят восьмой не бывало. Но никто не радовался: четыре, но это четыре отдельных случая.

Я оказалась пятой. Элизабет Арден не подвела. Только сработала не сразу: телеграмма "Ты и муж освобождены" пришла не в тот день, а на следующий.

Но уже после этого она не снилась мне больше никогда.

1980

ВРЕМЯ НАДЕЖД

Наш лагерь — Средне-Белая, Хабаровский край — был на несколько часовых поясов впереди Москвы. И у нас было радио — так что мы слышали, вставая, нежный голос московской дикторши, желавший нам спокойной ночи. Утренних передач мы, естественно, не слышали — у нас был самый разгар рабочего дня; зато дневные, при желании, могли слушать сколько угодно — радио в бараке не выключалось. Только никто к ним особенно не прислушивался. Во-первых, было не до них — очень уставали за день, хотя работа в ту зиму была не такая уж тяжелая: мы стеклили рамы для парников. На сельхозах — т. е. в сельскохозяйственных лагерях — зимой работ мало: снегозадержание, — милая работа, чистая и разумная: мы делали надолбы из снега, чтобы ветер не сдувал снег с полей. Снегу на Дальнем Востоке мало, ветры дули по равнине исправно, а мороз держался, никогда не поднимался выше 30 градусов Цельсия; и чтобы не промерзала земля сверху — а под ней на километры и километры вширь и вглубь лежала вечная мерзлота, — надо было ее укутывать. Посылали долбить силосные ямы — открывать сбереженный корм для скота: мы долбили кирками, открывали, потом кирками же снимали верхний слой силоса, от запаха ко-

того можно было упасть в обморок — и падали. Делали торфо-перегнойные горшочки — для того, чтобы весной капусту сажать: тогда был открыт новый способ посадки, квадратно-гнездовой. Плели корзины — лозу для корзин за зоной рубила самая сильная бригада, молодежная. И вот — рамы стеклили. Не на морозе, к нашему удовольствию — в тепле. На морозе оставалась только Тося Мелентьева — ее недавно разжаловали из хлеборезок, и она варила гудрон. Гудроном мы обмазывали пазы в рамах, когда удавалось вставить туда стекло — оно в наших неловких руках билось как птица и разбивалось в пыль...

И все-таки зима — не лето: и рабочий день короче, и работаешь не в наклонку, как на прополке или на сборе картошки, и выспаться можно.

В тот вечер в зону привезли кино — его в столовой показывали. Кажется, то было "Взятие Берлина" — его к нам в зону почему-то особенно часто завозили. Там показывали, главным образом, Геловани в роли Сталина. А может, то была "Клятва", тоже с Геловани, — как Сталин клятву у гроба Ленина давал... Кино не запомнилось. Но когда мы выходили с сеанса, увидели — на протоптанной к столовой снежной тропке стоит Гжицкая. Вот с этой минуты все и началось. Все помнят такие минуты своей жизни — как помнят, например, где кого застала война. Минуты, когда тебе возвестили о переломе эпохи.

Гжицкая — так ее почему-то все звали, Гжицкая, по фамилии, — была вдова украинского писателя, который загремел еще в 1937 году. Загремел — это не "прогремел"; это значит попал в тюрьму, во всяком случае тогда значило; потом уже могло значить — уволили, прогнали, исключили — в неровные, но мягкие, в общем, хрущевские времена.

Сама же Гжицкая села сравнительно недавно — в 49 году, когда стали подбирать тех "ЧСИР" — "членов семьи изменника родины", которым каким-то образом удалось ускользнуть в тридцать седьмом. Она была, конечно, старший возраст, нерабочий, лет под шестьдесят, но держалась дамой. И стояла на снегу не в валенках, а в туфлях на каблуках и ждала нас всех — никого в отдельности. Мы выходили толпой и от нее слышали:

— ...Только что по радио... Сталин заболел, удар...

И мы испугались. Чего испугались? Да того, что она говорит об этом вслух. За такое — немыслимое! — сопряжение смыслов "Сталин и смерть", за богохульный силлогизм "Кай — человек, и, следовательно..." могли дать статью "террор" — и давали. Через семнадцать — т. е. "пособничество". Не через девятнадцать — "замышлявшийся террор" — нет, именно через семнадцать: "ПОСОБНИЧЕСТВО". Мистическое судопроизводство сороковых годов нашего века.

И тон у нее, у Гжицкой, был какой-то — озабоченный, но спокойный. Возвещался конец эпохи — и вот этим киевским-дамским, светским тоном?

Кто-то сказал: да бросьте вы, Гжицкая, охота вам повторять... — т. е. себя и ее спасали, успокаивали, страховали этими словами. Но не унять было Гжицкую:

— По радио... ПО РАДИО... Сама, я сама слышала...

— Бог даст, поправится еще, — вздохнул кто-то благоразумно.

— Ну, конечно... Там, знаешь, какие врачи...

И осеклась — та, что про врачей. Все знали про убийц в белых халатах. За месяц перед тем появилась у нас еврейка Майя — врач. Срок обы-

чный — десять лет. Наша заключенная, доктор Ворончихина, по правилам профессиональной солидарности хотела взять ее к себе в санчасть. Начальство не позволило. Майя стеклила с нами рамы своими цыплячьими, не окрепшими после тюрьмы руками.

И мы побрели в барак. Там уже дневальные ходили с торжественными лицами — слышали. Из тарелки репродуктора лилась классическая музыка.

Этой музыкой заливали народное горе еще два дня. Она чередовалась с сообщениями. Сообщение "кровь в моче" уже не оставляло сомнений: у живого бога мочи не бывает. А что такое дыхание Чейнз-Стокса? Я тихонько спросила Ирину — она была биолог — и она объяснила: "это, когда уже... когда уже..." Все шло своим путем, все уже вышло на завершающую прямую, к месту встречи всего живого. И 5 марта траурный левитановский баритон объявил, наконец, число, час, минуты... Умер. Бригадир десятилетников, Аннушка С. (58 1 -А, измена родине, словом — за немцев) бурно зарыдала.

В эти дни бригады за зону не выводили.

Пришел надзиратель, печальный, но деловитый: "Женщины, кто умеет бумажные цветы делать? Для траурного собрания надо". Нашлись умельцы, им принесли цветную бумагу. Они крутили бумажные цветы — и смахивали слезы. Остальные держались тихо, но глаза влажнели у всех — у десятилетников, у двадцатипятилетников. Да и у меня, и у Ирины. Только старуха, Мышавец, которую считали чокнутой, открыто ликовала и выкрикала с верхних нар звонким голосом: да что вы, женщины? Вы что, сбесились? И хохотала, пока кто-то не стукнул, и за ней пришел надзиратель и увел в карцер. Всем стало легче. И все плакали — и во время траур-

ного митинга на Красной площади в Москве, который, конечно же, транслировался на весь мир, и на траурном митинге в КВЧ — наши цветы, свитые в венки, стояли под портретом, всю жизнь знакомым.

О чем мы плакали? Вероятно, — "по Станиславскому" — о себе. Журналист Лобов рассказывал, что Жуков в те дни — спешил — неся — летел из почетной своей ссылки в Москву. И на аэродроме, ожидая самолета, плакал слезами: — Только бы он меня простил!

И слезы застывали на его толстом лице.

По-русски проститься — значит, прощенья испросить.

Мы-то с ним не прощались. С собой, со своей прежней жизнью — все было при нем, при нем.

В Колымском лагере, где был мой муж, слез не было. Мужики там были — долгосрочники, 25-лётники, прошедшие войну, привыкшие к смерти. Они откровенно радовались.

Шли дни, газеты распухали от рыдающих статей. Заголовки вопили. "Гений всех времен и народов". "Вождь народов, учитель человечества".

И мы гадали: а что дальше? Ну, "учитель человечества". Ну, гений. Что же дальше-то будет? Уже и суперлативов не осталось.

А дальше не было ничего. Это была последняя статья — Фадеевская, кажется. Дальше перешли к очередным делам. Привыкали без гения. И мы привыкали. Нас уже стали выводить на работу: поплакали — и будя! И мы уже спрашивали друг друга, непривычно для самих себя: а с нами-то что? Все сходились в одном: сейчас эти, новые, должны "дать лощанского народу". "Дать лощанского, лощить" — по-лагерному значит угождать, льстить, подольщаться, т. е. — дать амнистию. Но какую? Кому?

Как-то в зоне ко мне подошла пожилая женщина, из инвалидов — в прошлом редактор какой-то дальневосточной газеты. Сидела она за партийное вольномыслие: Англия, по ее мнению, слишком долго не открывала второго фронта. И тогда она, эта редакторша, поместила в газете остерегающую передовицу, в которой разоблачала коварный Альбион и в частности Черчилля, старого врага Советского Союза. И оказалась за свою неуместную и несвоевременную бдительность здесь, на Средне-Белой, где уже заканчивала десятилетний срок. Состарилась, заинвалидилась, но сохранила неукротимый дух.

— Как вы думаете, можем мы чего-нибудь ожидать теперь?

— Лощанского народу дадут, наверняка.

— Ну — это ясно. Но мы-то с вами попадем в народ, или нет? Вот ведь что интересно.

— Думаю — нет.

— И я думаю — нет. А указники?

— Может, им что и отломится. Не думаю, чтобы много.

— Да, не слишком вы оптимистичны. Ну, а потом?

Мы переглянулись.

— Кто знает?

Заключенный начинает ждать амнистии с той минуты, когда после суда попадает в общую камеру. В этой общей камере, где ждут отправки в пересыльную тюрьму, живет преемственность, — годами, десятилетиями живет, потому что никогда не отправляют всех сразу. И так доходит до новеньких дивная байка о "белом флаге", который однажды вывесили над тюрьмой, — никого не осталось. Когда это было — никто не знает, но было! (Думаю, что то были смутные воспоминания об амнистии 1927 года, действительно — широкой, широчайшей.)

Но была еще одна — амнистия не амнистия, а указ, который в лагерях был известен как указ о мамочках. Раз в два года, обычно весной, выходил такой указ: освободить матерей с детьми (в лагере в те времена рожали) и тех, у кого дети на воле. Возраст детей от указа к указу менялся: то до трех лет, то до семи... Но не на всех матерей распространялся этот указ. Он не касался "особо тяжелых преступлений". Разумеется, пятьдесят восьмая — даже болтовня с соседкой с выражением недовольства — вся без изъятия входила в эти "особо тяжелые". И бандитизм — пятьдесят девятая статья: обычно у женщин эту статью имели западные украинки и прибалты — те, кто носил в леса еду своим партизанам или не настучал на них. И те, кого осудили по закону от 7 августа 1932 года, — в лагере говорили: "от седьмого восьмого". И еще "не подлежали" те, кто попался на крупных хищениях — их судили по "Указу, часть вторая": обычно это были торговые работники и бухгалтеры.

И раз в два года, когда счастливицы уходили домой "по мамочкам", мы, "не подлежащие", старались провожать их по-доброму: они ж не виноваты, что им счастье привалило. По ночам плакали, днем ходили злые, собачились друг с другом, с надзирателями, с конвоем — но проводить старались чин по чину, добра пожелать.

В самом начале марта я ни с того ни с сего взялась вышивать какую-то тряпочку "ришелье", впервые в жизни. Кто-то из украинок увидел, ахнул:

— Руфа вышивае! Ну, амнистия буде!

Так всегда говорилось, если кто-нибудь начинал вести себя необычно. Но после первых сообщений о болезни Сталина к моей вышивке стали относиться неожиданно серьезно: подходили, смотрели, давали советы. И после 5 марта стали требовать:

— Ты шей, Руфа, шей, — кричали мне с разных нар, если я бралась за книжку.

Я чувствовала себя Эльзой, сестрой белых лебедей: надо было спешить.

Амнистию возвестила Вера Анушкевич (Белоруссия, 58-10, 10 лет), услышала по радио в соседнем бараке. "Всем до пяти лет! — кричала она, всегда флегматичная, плача и задыхаясь. — А у кого же пять лет? У одной Карелиной, из всех!"

— А мамочки, мамочки?

— И мамочки — у кого дети до четырнадцати. Но кроме особо тяжелых...

В общем — опять мимо. Все как всегда. Никогда ничего пятьдесят восьмой не было, чего уж тут.

Ушли бытовички, ушли рецидивистки. Я свое ришелье к тому времени кончила. Ну что ж, — говорили рассудительно, — бытовикам все-таки амнистию вышила! Ты давай, Руфа, вышивай что потруднее. Филейку вышивай!

И даже чистую тряпочку дали — для вышивки. Я взялась за нее через месяц; потом бросила; потом опять взялась. И закончила ее в 54-м году — работа была кропотливая. Эта тряпочка и сейчас у меня.

А в тот вечер, когда была объявлена амнистия, по радио передавали романс Чайковского на слова Алексея Толстого: "Благословляю вас, леса...". Мы поняли, что это для тех, кто пойдет на волю.

А мы воли — боялись. Мечтали, звали, ждали — и боялись.

У всех у нас было "по рогам" — поражение в правах, как правило — на пять лет. Это означало, что в больших городах нам жить нельзя (среди нас было много горожанок): поражение в правах непременно подразумевало "минус";

минус — это те города, в которых нельзя жить: минус пять, минус двадцать, минус сто... Обычно возвращающиеся селились на "сто первом километре" — от того города, где они жили прежде. Ближе не имели права. Мы помнили, как в конце сороковых годов (когда вернулись посаженные в тридцать седьмом) этот "сто первый километр" стал неводом, полным рыбы, который только и ждал рыбаков из госбезопасности.

В лагере — без забот. Накормлен, как говорили у нас, по норме, одет по сезону, на работу ведут, с работы провожают. Веселая украинка (западная), бывало, спрашивала: "Бабоньки, чего сумные? Что у вас — дети по лавкам плачут? Или корова недоена?" Такой горький юмор.

А "на воле" — как жить? Куда трудоустроят? Гроши получать, дрова доставать, да раз в месяц, а то и чаще — ходи, отмечайся в милицию. И всем ты чужая, и всем подозрительная, и все на тебя стучат... Странная воля. Освобождали после срока, как крестьян в Великую реформу — без земли. Наша земля — это был наш дом, где дети, где стены иногда все-таки помогают, где есть спрос даже на интеллигентный труд, если уж ничего другого ты не умеешь.

Колхозницам, правда, разрешали вернуться домой. И они радовались. Но и они, и дома, были меченые. И вечно голодные.

А в лагере, худо ли, хорошо ли — кормят.

Надо сказать, что в лагерях в те годы не голодали — во всяком случае, в тех, где я была. Конечно, хлеб на столе, как в шарагах, не лежал, но работягам выдавалось 800 грамм исправно. Разносолов тоже не было: утром чай, хлеб и 12 грамм сахара на день; в обед — баланда (суп из круп) и каша, обычно перловая, чуть подмазанная постным маслом; на ужин — то же, плюс чай. Посылки разрешались — сколько угодно. И,

после того, как введен был хозрасчет (т. е. оплата подневольного нашего труда), у заключенных даже деньги появились, и в ларьке можно было купить белый хлеб, масло сливочное, конфеты-подушечки... Это уже после того шума, который подняли Элеонора Рузвельт и Герберт Моррисон — после книги Кравченко "Я выбрал свободу".

Но точно так же, как и в тридцатые годы, нас вдруг, без всякого предупреждения, перебрасывали — неизвестно почему — за многие сотни, а то и тысячи километров, в другие лагеря. Сибирь большая. Точно так же освобождающиеся должны были давать подписку — что ничего и нигде никому о лагерях рассказывать не будут. "Личных свиданий" — т. е. свиданий на сутки, с ночевкой, нам не полагалось, даже если находились отчаянные головы, которые приезжали на такое свидание к жене, к мужу, к сестре с запада на восток, с юга на север нашей необъятной родины.

Ничто не менялось. Правда, старые "тюремщицы" — женщины не говорили "зэки" — вспоминали голодные военные годы: "Теперь что! Баланды сколько хочешь нальют! А тогда...". Но баланда оставалась баландой, только крупы в ней было больше.

Лагерная жизнь текла от звонка до звонка — десятки лет.

* *
*

Близились шестое апреля, моя горькая годовщина: четыре года. Я ее не отмечала, но помнила, тем более, что 6 апреля страшно далекого пятьдесят девятого года мне предстояло освобождение. Но кто туда заглядывает на пятом году. А 4-го апреля была Пасха — не русская,

западная. Потом я узнала: и еврейская тоже. Но евреев у нас в бараке не было; их и всего-то в лагере было три или четыре, меня считая. Наши латышки сидели в своем закутке и чем-то разговлялись к празднику. Мы же — кто что, был вечер, ужин уже прошел. Радио что-то лепетало, никто не слушал. И тут грянуло: сообщение Министерства внутренних дел СССР. О врачах. Об убийцах в белых халатах.

Я съежилась, скорчилась, и с ужасом стала ждать: "приведен в исполнение". Все советские люди знали наизусть застывшие, как гудрон на морозе, окаменевшие блоки: "вину свою признали полностью... за преступления, не совместимые с ... за, за, за... к высшей мере наказания — расстрелу". И всегда, в том же номере газеты — приговор приведен в исполнение.

Я сидела совсем одна за столом — писала письмо. Валя, с которой мы "вместе кушали" (значит, всем делились — лагерная терминология для дружбы), сидела в нашем закутке и беседовала с докторшей Ворончихиной. Ирина — ленинградка с немецко-шведской фамилией, интеллигентка, с которой обо всем можно было разговаривать (измена родине, 25 лет), спала на своих верхних нарах, ее нельзя было будить — что-то у нее было вроде бессонницы, редкой в лагерях. Была еще Валентина Николаевна — в другом бараке, тоже ленинградка, тоже интеллигентка: в январе она, несколько для меня неожиданно, приняла сообщение об аресте врачей с ликованием: "Ну, наконец-то! Наконец-то и они поняли!"

— Вы что, Валентина Николаевна? Вы думаете?..

— Ну, конечно! Господи, что тут думать! Всем ясно! "Сионские мудрецы", они всем командовали...

Между прочим, она сама была дочь врача — окулиста.

В общем, я сидела у всех на виду — если кто смотрел — и слушала, и, кажется, все прислушались: тихо было в бараке. Падали каменные словоблоки. Одно слово в самом начале было непривычное какое-то: "Проверка". Министерство внутренних дел СССР провело тщательную проверку, — но не задело, или, может, чуть задело, привычно-горько: проверили, как же... Дальше все, как всегда: обвиненных во вредительстве (ох), шпионаже (ох), и террористических действиях...

Пятьдесят восемь шесть, пятьдесят восемь семь, пятьдесят восемь восемь...

Пошли фамилии — пятнадцать фамилий с инициалами... Сколько это заняло? Минуту? Полторы? Сейчас мне чудится — Левитан читал, его медный с бархатом голос. Но может быть и нет. Долго, мучительно долго перечислялись фамилии, а звуковой окраски вспомнить не могу: сознание как бы опережало слух.

— Майоров Г. И. ... И вдруг пошли совершенно неузнаваемые слова: ...были арестованы **НЕПРАВИЛЬНО, БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЙ**.

Слово **НЕПРАВИЛЬНО** диктор выделил — наверное, оно у него было крупно напечатано, для выделения, в разрядку. После этого неслыханного в таком соединении слова я вскочила, кинулась к своей вагонке, рядом:

— Валя, ты слышишь?

— Слышу.

А слова шли: обвинения... являются **ЛОЖНЫМИ**... данные... **НЕСОСТОЯТЕЛЬНЫМИ**... И — то самое, знаменитое, что потом годами повторялось, — применение **НЕДОПУСТИМЫХ И СТРОЖАЙШЕ ЗАПРЕЩЕННЫХ**

СОВЕТСКИМИ ЗАКОНАМИ ПРИЕМОВ СЛЕДСТВИЯ.

А пока дошло до этих недозволенных приемов — сколько было невероятных слов, невысказанных словосочетаний. Пока разморозилась кровь в жилах — может, я чего-то не расслышала, пропустила, не поняла?

...Полностью реабилитированы... из-под стражи освобождены... виновные в неправильном ведении следствия арестованы...

— Валя, ты понимаешь? Валя!

Она не понимала. Чужое освобождение опять отозвалось в ней только болью: а я-то? Десятый год разменяла. И за что?

Валя сидела по закону от седьмого-восьмого плюс пятьдесят восемь десять (антисоветская агитация). Плюс она заработала в лагере — за то, что, когда освобождали мамочек после войны, вскрикнула: а у нас что, дети — щенята? Срок ей не добавили — но освобождению она не подлежала вдвойне. И так и отсидела — от звонка до звонка.

Она была справедливая — качество редкое вообще, а в то время, да еще в лагере, — и вовсе. В Райчихинском лагере, где мы встретились, она работала завстоловой — много лет! И никто о ней никогда не сказал худого слова. Одно говорили: хорошая женщина, переживательная. Переживательная — значит, сострадательная. Умела слушать, умела и посоветовать. В нашем очень маленьком и наглядном мире безошибочно различала добро и зло, не на абстрактном уровне, а на сиюминутном, что много сложнее.

И вот тут она ответила неохотно: слышу, слышу.

Я поняла, что это у нее: "опять других, не меня". Поймет, если объяснить. Но мне сочувствие нужно было сейчас же, немедленно. Я

разбудила Ирину — тронула снизу ее ноги. Она села, щурясь; я сказала: врачей освободили. И я увидела, чего никогда не видала прежде: она перекрестилась. Я ей все пересказала. Она только повторяла: слава Тебе, Господи!

Потом меня позвали в закуток к латышкам. Поздравляли. Я сказала, сама еще не очень веря: — это всем нам, всем... — Вы думаете? — серьезно спросила одна. — Как-то не верится еще...

А мне уже верилось.

Вероятно, я немножко металась по бараку — чтобы все поняли, чтобы узнали, если не прислушались. И услышала, как Валя с тихой злобой говорит Ворончихиной: эта Руфь Александровна со своими евреями, как с ума сошла все равно!

Древняя змейка во мне приподняла ядовитую головку, куснула: а, значит, вот она какая! Но я знала: неправда. И вернулась в свой закуток, и стала толковать Вале свое непонятное поведение: для всех, понимаешь? Ведь такого никогда не было! Ну, вот, ты десять лет сидишь — скажи, было когда-нибудь?

И уже она слушала, как всегда слушала, внимательно и готовно. А я ей тогда, в тот же вечер, сказала:

— Только не сразу. Рюмин — это пешка. Теперь надо ждать, когда его хозяина прогонят. Берию.

— Руфь Александровна, а вы думаете — прогонят?

— Обязательно.

И несколько месяцев — до самого июля — Валя ждала. Поверила мне. И иногда говорила мечтательно: хотелось бы мне опять веночек сплести. И чуть-чуть подмигивала. — На свои бы деньги бумаги цветной купила бы.

И я тоже ждала — как будто мне кто-нибудь обещал.

Откуда такая прозорливость? Да из книжек, откуда еще? Хотя нас товарищ Сталин учил, что исторические аналогии опасны (ему ли не знать, до чего они опасны, когда он сам именно в этих категориях мыслил!), но у нас-то ничего кроме аналогий не было. Не было личного опыта; не было иностранных газет (как и сейчас их там нет), не было вдумчивого русского "Би-Би-Си", не было людей "оттуда". Но книги — классики и неклассики — просто книги! — открывали удивительные вещи. Благодаря Анатолию Франсу те, кто тогда перечитывал "Боги жаждут", узнали в лицо тридцать седьмой год; благодаря Ключевскому стали, после визита Риббентропа, ожидать четвертого раздела Польши; благодаря самым обычным учебникам истории поняли, что теперь кого-нибудь непременно надо будет обвинить во всех грехах, и тут сразу возник в уме Берия, как не последняя, но неминуемая жертва.

Вот мы и ждали.



Жизнь лагерная шпа как по-прежнему — с периодическими сотрясениями: то вдруг угнали на этап, в Озерлаг, в Красноярский край, нескольких наших бригадниц, в том числе подругу Ирины, молоденькую кореянку из Алдана (пятьдесят восемь-восемь, т. е. "террор" — школьная организация "Союз друзей свободы"); то прислали с воли двух новеньких с двадцатипятилетними сроками (обе учительницы, обе "за немцев"), и мы их жадно расспрашивали... А между тем, те, кого посадили "за немцев" в 1943 году, когда началось контрнаступление Советской армии, стали уходить одна за другой: от звонка до звонка отбыли десятилетний свой срок. Тогда

еще двадцатипятилетнего срока не давали: или расстрел, или десятка. Потом расстрел ненадолго отменили, заменили двадцатью пятью годами (тут мой муж как раз свой срок и получил). Но очень скоро расстрел ввели снова — однако двадцатипятилетний срок оставили.

В апреле нас перевели на другой лагпункт. После амнистии лагерь наш подтаял — ушли уголовники, ушло немало бытовиков — и число лагпунктов стало сокращаться.

Валя вздыхала: "Может, не придется?" — "Чего не придется?" — "Ну, веночек исплесть". — "Придется, нельзя иначе".

Шли дни, недели, месяцы. И в один прекрасный июльский день радио — сообщило об аресте Берии. Валя была в поле, с бригадой, а я оставалась в зоне — мне доверили разбирать библиотеку, вот какие настали времена! Библиотека на этом лагпункте была поразительная. Раньше тут были мужчины — и какой-то старичок-инвалид — библиотекарь вырезал из журналов то, что ему нравилось, и переплетал. И вкус у старичка был: он переплел "За правое дело" Гроссмана (это первая часть романа, который вышел теперь на Западе под названием "Жизнь и судьба"), и Казакевича, причем именно осужденные критикой "Двое в степи", и Панову... В общем, я с удовольствием разбирала библиотеку — и тут услышала долгожданное сообщение. А Валя узнала о нем в поле — и от самых ворот, задыхаясь, бежала мне навстречу, плача от радости.

На следующий день моя кантовка в зоне кончилась, и я вышла в поле, на прополку свеклы. В полдень нам привезли обед — и начальника культурно-воспитательной части, сокращенно КВЧ: на каждом лагпункте полагалось иметь такое. Фамилия нашего КВЧ была Колядко. Видимо, ему приказали провести беседу, по-

литинформацию. Колядко был фронтовик, войну окончил старшим лейтенантом, с орденом Красной звезды. Как его закинуло в женский лагерь, да еще в КВЧ? Последние месяцы он был сам не свой: освобождение врачей его подкосило. Поверить в их невиновность он не мог — душа не принимала. Откупились? Так считали в мужском лагере на Колыме, где был мой муж.

Но в это поверить он не смел. Хорошо бы вредительство. Но кто же вредители? Все — соратники Сталина. Колядко похудел за эти месяцы. Он привык исполнять, а не сомневаться. А тут хоть и объяснили, но — страшно сказать! — не верится.

Разоблачение Берии и для него было праздником. Наконец-то найден вредитель!

Он подсел ко мне, когда я ела баланду, показал мне газету, и сказал, доверительно-убежденно: "Теперь опять поплывут эти врачи-и-и"...

Он это чуть что не пропел. В душе у него, наверное, соловьи щелкали. Найден вредитель, теперь опять посадят врачей, линия партии будет снова выпрямлена и все пойдет по-старому.

Я позволила себе с ним не согласиться, сказала "вряд ли!" Он вскипел: "Обязательно посадят, обязательно. А как же вы думали?" Он только что обрел душевный покой, наверное, даже гордился втайне своими трехмесячными терзаниями — а я тут со своими улыбочками, своими "вряд ли!" Он встал и ушел к другой бригаде.

Удивительные вещи начинались в нашей жизни.

Газеты совсем перестали упоминать товарища Сталина, словно его и не бывало. Нас это не беспокоило — беспокоило одну только Аню С., бригадира соседней бригады, которая пуще всех оплакивала его смерть. Она даже осторожно пыталась выяснить у интеллектуальных — что

бы это значило? Почему? Вот — про Ленина до сих пор пишут, что он умер, а дело его живет.

И тут приехала к нам высокая комиссия. Из самой Москвы. Из Гулага. Я помню из этой комиссии двоих — молодого и старого.

Зачем, собственно, они прибыли — не понимаю. По-видимому, у них в Гулаге решено было проявлять чуткость к заключенным. Конечно, не распустить по домам, но — проявить чуткость.

И они стали проявлять. Старый, кажется, только при сем присутствовал, а молодой был активен и оживлен. Он интересовался душевным состоянием наших артисток — вызвал меня как руководителя лагерной самодеятельности — и спрашивал, какие у меня отношения с артистками... "Среди них есть такие, которых я называю хрупкими натурами", — сказал он озабоченно. Начальник лагеря, который при этом был, даже смутил меня: придвинул стул, предложил папиросу — словом, чудеса! "Среди них есть одаренные, не так ли? — интересовался молодой. — Вот — Егорова! Или Крещановская!"

Обе были бытовички, обе — очень талантливые.

— Вот-вот! Вот вы говорите — талантливые. Это значит, с ними надо о-о-очень бережно! Талант надо беречь! — поучал он меня. — Ну, оступились, понесли наказание, — но мы совсем не считаем их погибшими для советского общества! Напротив...

Вдруг у него наступило просияние ума. Он замолчал. Потом сказал:

— Вот, у вас пятьдесят восемь-десять, но мы и вас не считаем, что вы это, для общества...

Я тоже не считала и так и ушла, не поняв, чего он, собственно, добивается. Поняла одно — теплеет!

В воскресенье днем опять произошло необы-

валое: к нам приехали вольные артисты! Из самого Благовещенска! Концертная бригада: певица, танцор и представитель "оригинального жанра", как это называлось в Советском Союзе, а попросту — жонглер. В бараках не осталось никого — все набились в столовую, которая служила и театральным залом. Танцор плясал что-то несусветное, с идеологическим названием "их нравы", жонглер вдохновенно ловил тарелки, а певица, молоденькая девушка в небесно-голубом платье, нежно спела тогдашние шлягеры на слова Ошанина. Все они имели бурный успех, и певица даже исторгла слезы, когда спела песенку про седые прядки нашей первой учительницы и как мы ее никогда не забудем.

А на следующий день — опять небывалое: нас послали с концертом на мужской лагпункт. Нас, женщин — на мужской лагпункт! Члены комиссии прибыли туда еще раньше нас. И молодой — все тот же молодой — попросил у меня программу концерта, утвержденную, разумеется, нашим начальником КВЧ, гражданином Колядко. Там было все, как полагалось: хор, начинавший с очередной песни о Сталине, частушки, пляски, скетчи и — стихи о Сталине, которые читала, разумеется, Аннушка С. Посмотрел-посмотрел, вынул папиросу, вычеркнул два названия — "это не нужно и это не нужно", и вернул мне. Он вычеркнул и песню о Сталине, и стихи.

Хор на сцене пел лирическое "Чорни очи, як терень", за кулисами рыдала Аннушка С., а зал принимал артистов так, как, наверное, никогда не принимали ни Уланову, ни Русланову.

В бараке Аннушка, улучив время, когда я сидела одна в закутке, подошла и спросила негромко:

— Руфа, что случилось? Он что — оказался вредитель? Заодно с Берией? В чем дело? И газеты ничего не пишут...

Она была в смятении и ждала руководящих указаний. А их не было.

Еще через некоторое время ко мне в библиотеку появился начальник калибром поменьше. В звании подполковника. Не из Гулага, но из области. Мы его давно знали, он появлялся раза два в год, ходил по баракам, задавал обязательный вопрос: "Клопы есть?" Клопов не было, и он уходил, удовлетворенный.

После одного из таких его приездов как раз и приказано было не ставить в санчасть еврейку Майю. Выглядел он внушительно; седая грива, волевое лицо, хороший рост... Этаким советский Джон Вэйн. Никогда раньше он ко мне в библиотеку не заходил — клопов там искать было нечего.

— Ну как, работаете?

Библиотекарем мне, как пятьдесят восьмой, работать не разрешалось. Идеологический фронт — книжки. Литература.

— Да нет, гражданин начальник, просто подменила...

— А я вот на пенсию ухажу, — он встал против меня, стиснув челюсти и сдвинув брови.

— Что так?

Я видела, что он в тоске и бешенстве — только что зубами не скрипит.

— Новые люди!.. — он хохотнул с ненавистью.
— Мо-лодежь! Дорогу молодым. Я не могу с этими... с новыми...

И вдруг, разъярясь:

— Я чекист, понимаете? Я чекист!

— Понимаю, — сказала я.

— Вот, вы понимаете... А они... Разве они могут понять? Ну, что ж... Пусть... Посмотрим!.. Посмотрим!

И ушел, шагами командора.

Дневников мы тогда не вели, разумеется. По-

этому — не помню в точности когда это было: помню — еще было тепло. В августе, вероятно. Но слова его помню точно.

На нашем лагпункте — на этом, последнем, — партийных почти не было. И прежде они мне попадались негусто, — да и то, в основном, те, кого подбирали по старым делам: повторницы 37-го года и те, немногие, кому во времена великих чисток удалось пришипиться незаметно, главным образом "ЧСИР" — члены семьи изменников родины. Тут у нас была та редакторша, пострадавшая за непримиримость к Черчиллю, и еще одна — по "Ленинградскому делу". Мы не знали подробностей, статья у нее была скромная — пятьдесят восемь-десять. Но срок — двадцать пять лет. Т. е. вторая часть этой многообъемлющей статьи, антисоветская агитация во время войны или, как у моего мужа, "с использованием национальных или религиозных" или еще каких-нибудь "предрассудков". Но вряд ли были у нее предрассудки национальные или, тем более, религиозные: она была для таких вещей непрошибаема. Разве что антисемитизм? Было такое: в разгар антикосмополитической, т. е. антисемитской кампании сажали вдруг кого-то за антисемитизм. То ли те забегали вперед, то ли писали партии и правительству вразумляющие письма по поводу засилья "сионских мудрецов". Я встречала такую вразумительницу, вполне интеллигентную ленинградку. Но начальство не любит, чтобы его вразумляли, вот и схватила та ленинградка десятку. За антисемитизм больше десятки не давали: антисемиты шли по первой части — без "предрассудков". А тут — двадцать пять! Скорее всего что-нибудь ей, партийке, припомнили, когда в 49 году стали сажать ленинградский обком.

Звали ее — ну, скажем, Мария Андреевна (не хочу называть настоящего имени — может, жива, и в партии восстановилась). У нас ее за глаза называли "Петр Первый" или "Статуй" — крупная была, тяжелая в движениях. И еще "мы с Ждановым, мы с Кировым": о Жданове она говорила с неостывающим восторгом, а о Кирове просто пела. С "интеллигенцией" не дружила, но сплетничать о ней любила: одна, скажем, чифирит, другая курит травку... Ядовитые, в сущности, сплетни, но мы сразу узнавали автора: "Статуй"! И с ней не связывались.

В мартовские дни, когда все притихли, не очень понимая, чего ожидать, она была всех тише: буквально рта не открывала. Когда похоронили бога и стали ждать амнистии — не выступала. Ее спрашивали: а вы как думаете, Марья Андреевна? — А чего мне думать? — отвечала она. И от нее отступались. — Боится? — понимали мы. И как бы признавали за ней право бояться больше всех.

Это закончилось припадком эпилепсии — до того мы и не знали, что она эпилептик. Ей с великим трудом, концом ложки, разжали зубы — она так закусила язык, что кровь лилась у нее по подбородку.

После этого она, вроде отошла: не скажу — повеселела, но какое-то началось в ней внутреннее оживление, отмерзание. И мы стали иногда перекидываться словами, особенно после падения Берии. — Ах, негодяй! — говорила она.

Как-то, уже после приезда комиссии, когда всем стало известно, что о Сталине уже ни песен не поют, ни сказок не сказывают, встретились мы с ней за баракком случайно — в воскресенье. Забыла сказать, что нам стали давать выходные, чуть что не еженедельно.

— Вот, Марья Андреевна, как умер Сталин — и воскресенье у нас появились!

— Жаль, что раньше не придушили, — про-
бормотала она. Я выпучила глаза — не ожидала.
Она усмехнулась, пояснила отчетливо:

— Давно надо было придушить!

Дольше всех не принимал происходящего Ко-
лядко, начальник КВЧ. До самого декабря.

А в декабре, как положено, готовился концерт
по случаю дня конституции. И, конечно, стен-
газета, в которой Колядко неизменно писал
передовую. Он и на этот раз ее написал, под
обычным названием: "Сталинская конституция".

Я, не говоря ни слова, положила перед ним га-
зету "Правда" — только что полученную. Пере-
довица называлась: "Советская конституция".

Колядко дернул шеей, словно ему жал ворот-
ник. Зачеркнул "сталинская" и написал сверху:
"советская".

В ту зиму нас выводили на работу мало:
только на силос. Мы отлеживались на нарах:
"день кантовки — месяц жизни!" Тут-то я и
взялась опять за рукоделье. И все стали инте-
ресоваться газетами: Руфь Александровна, по-
смотрите, про нас там ничего нет? Про нас
не было. Но газеты стали какие-то интересные:
изменился тон. Словно сменили редколлегию.
Война в Корее кончилась: генсеком стал Хрущев,
но Маленков, законный наследник Сталина — он
и при жизни считался его наследником — был
главой правительства; вместо одного гения у нас
теперь было "коллективное руководство", и чуть
не в каждой статье намекалось на преимущество
этой формы правления. Мы с мужем писали друг
другу о диadoхах, — справедливо считая, что
цензура не осведомлена в древней истории и о
наследниках Александра Македонского не слы-
хивала. Мы ожидали, когда они начнут ссорить-
ся, — но мы опережали события: наши чаяния
сбылись только через два(?) года. Правда, мы к

этому времени уже давно были на свободе.

Кстати, в тот, последний год мы стали переписываться "прямо" — из лагеря в лагерь. До этого мы переписывались "через дом": писали в Ленинград матери моего мужа, а она пересылала нам письма — с Колымы и на Колыму.

Не проходило месяца, чтобы кто-нибудь не освобождался. Освобождались кончавшие срок — в пятьдесят четвертом году для многих кончалась "десятка". Ушла в январе Тося Мелентьева, хлеборезка (Архангельск, связь с англичанином, измена родине!), за ней ушла красавица Маша Морозова (Днепропетровск, немцы, измена родине!)... Они возвращались домой, как говорится — по месту жительства, без всяких ограничений — без "минус сто" или "минус пять". И оттуда присылали в лагерь письма — никому в отдельности, просто всем. "Девочки!" — писали они. И дальше подробно: как ехала, с кем в вагоне познакомилась, и как встречали дома. У Тоси Мелентьевой была дочь — она ее не узнала, оставила малюткой, а теперь взрослая девушка, пятнадцать лет. У Маши Морозовой вскоре после ее приезда уголовники ("Бериевская амнистия") зверски убили сестру... Весной этих уголовников амнистированных стали подбирать снова — первый этап появился у нас в Средне-Белой в мае месяце, из самой Москвы. Срока у них были маленькие — год-два — а загнали за десять тысяч километров. Немало от них, видно, натерпелись — еще через несколько лет рассказывали всякие ужасы, вспоминая.

Мне пришлось выдавать им лагерное обмундирование — к этому времени у меня кончилось полсрока (пять лет), и меня расконвоировали. В первый и, по-видимому, в последний раз в жизни я стала "начальством": меня поставили в вещкаптерку и на склад. На складе (это был сарай

за зоной) каменели во льду крошечные бараньи тушки, которые я отпускала нашей застольной из расчета одна тушка на сорок едоков; в каптерке, где круглый год стояла зимняя температура, хранились сокровища: ботинки, валенки, бахилы (нечто вроде коротких сапог на толстой резиновой подошве), телогрейки, ватные брюки, бушлаты и разные изделия из бязи: платья, белье, простыни, полотенца, наволочки... Все это было не новое, а второго и третьего срока — но тут уже можно было проявить и власть и фантазию: обменять, скажем, свои — или чужие — вещи третьего срока на второй. Принесет кто-нибудь изодранные лохмотья, а ты ему даешь целую, крепкую, второго срока простыню. Это ценилось, особенно при освобождении. На то была добрая воля каптера — мог и не обменять. Но ботинки менять полагалось по первому же требованию — заключенные свои ноги берегли, и по утрам с шести часов каптерку полагалось открывать. В самом начале своего владычества я проспала и открыла каптерку уже после развода. И какой же втык я получила от своей Вали!

— Руфь Александровна (она почему-то всегда звала меня по имени-отчеству, хотя я была старше ее всего на три года), как же вы могли? Ведь вы в тепле, а они (бригадники) целый день на улице. Ведь вы же (она подумала)... ведь вы же... слуга народа. Как же вы это?

Я не пыталась оправдываться — мне стало стыдно.

Наверное, тут надо объяснить, что значит "расконвоировать". После отбытия половины срока заключенный (если у него не особо тяжелая статья и срок не больше десятки) получал право выходить за зону без конвоя. Это к тому же давало возможность использовать его на не-

обходимых для лагерного хозяйства работах — например, возчиком, или водовозом, или, вот как меня — завскладом, потому что склады помещались за зоной. Радиус моего хождения был невелик, но иные расконвоированные (их у нас называли "бесконвойные") даже ездили на железнодорожную станцию, в Благовещенск. Они, что называется, были облечены доверием. Но — вот неблагодарность людская! — именно среди бесконвойных, у которых большая часть срока была позади, случались побегии. Была у нас такая Антипова — послали ее за зону полы у начальника мыть, а она, как была с ведром, ушла, и поминай, как звали. Только через несколько лет ее обнаружили в Ташкенте, у дочери — зять не выдержал, настучал.

В апреле на Дальнем Востоке солнце уже пригревает, хотя и скупое. А в лагере, в ту последнюю мою весну, начались ЧП и в нашей жизни. Опять происходило небывалое: стала уходить пятьдесят восьмая — по пересмотру дела.

Первой ушла врачиха Майя, отсидевшая с нами чуть больше года. Девять лет, как говорилось, "оставила начальнику". Мы даже привыкнуть к ней как следует не успели. Провожали мы ее, нашу первую ласточку, с изумлением — но твердо помня, что первая ласточка еще не делает весны.

А в мае ушла вторая — жена офицера, который "выбрал свободу"; служил в Германии и в один прекрасный день скрылся где-то на Западе. Жену, которая жила в Москве с сыном, немедленно арестовали, дали десятилетний срок — и вот она освобождалась, отсидев всего два года, еще и башмаков лагерных не износивши, тем более, что работала она у нас в бухгалтерии. От нее пришло письмо из Москвы — была в Большом театре, в театр теперь носят вечерние платья, жизнь прекрасна...

— Что ж, неужели так и будет — по одной, по одной в месяц? — томились мы. — Да, небывалые вещи делаются — но дойдет ли до нас?

Мы жадно читали газеты, силились прочесть что-то между строк. С самого пятьдесят третьего слова "социалистическая законность" не исчезали с газетных столбцов — но значение их все еще для нас не прояснялось.

Особенно терзались двадцатипятилетники — из них не ушел еще никто.

А те, кто кончал срок, недоумевали: как же так? Мы свои десять лет от звонка до звонка — а почему же другие... Почему мы считаем месяцы? Разве так надо, если по справедливости? Валя никогда об этом не говорила — только темнела лицом. Ей освободиться было осенью этого, пятьдесят четвертого года. И скажу сразу — отсидела весь срок. И меня проводила, плача над горькой своей, бесталанной судьбой.

Но я в ту весну ничего еще для себя не ждала. Хотя письма из Ленинграда шли необычные: "Я уверена, что скоро вы оба увидите своих детей", — писала моя свекровь. Я дивилась: ну, я — это еще можно при усилии воображения себе представить. Но муж? С двадцатипятилетним сроком?

В июне ушли почти одновременно две женщины. Тетя Серафима, колхозница из Калининской области имела десять лет ЗА НЕМЦЕВ! Измена родине. И вот освобождалась по пересмотру.

Четвертой была Мария Андреевна, "Статуй". Двадцать пять лет! Ленинградское дело!

А пятой была я. Шла я из-за зоны и несла за спиной мешок с ложками со склада. И встретила меня на дороге телега с нашей хлебозовкой, она же и почтальон — бесконвойная западная украинка, тетя Оля. Она меня остановила: "Подожди, Руфа, я тебе шось скажу!" И

смотрела на меня грустно, влажно, своими украинскими нестареющими очами, с поволокой: "Освобождаешься ты, Руфа! И ты, и муж твой!" — "Тетя Оля, да охота вам шутить так!" — "Не шуткую я! Телеграмма тебе пришла, я привезла. И ты и муж!"

Я все-таки ей не поверила — особенно из-за мужа. Но только не могу вспомнить, как дошла до зоны со своим мешком. А там уже все знали. И телеграмма лежала на столе, открытая: "Ты и муж освобождены"... От свекрови. Не из Ленинграда — из Москвы.

Потом Фрида Вигдорова, у которой она тогда гостила, рассказывала:

"Нам казалось, что у Генри (так она называла мою свекровь, Генриетту Яковлевну Векслер) что-то с психикой. Она совершенно серьезно говорила: я долго у вас пробыть не могу, мне надо возвращаться в Ленинград — готовиться, ведь дети приедут! А тебе еще пять лет сидеть, а Илюше — страшно говорить сколько! — Генри, но почему вы так уверены? — А вот так! — Мы пытались ее осторожно как-нибудь отвлечь. Ведь никто еще не возвращался — только жена Молотова. И то, это только слух был, неподтвержденный. — А завтра, — говорит, — я должна пойти узнать в приемную Верховного Совета...

Она пошла. И там ей это и сказали: освобождены. По амнистии!

Она рассказывала: там много народу было, узнавали... И все больше женщины... И все мне говорят: молебен, молебен надо... немедленно пойди закажи!"

1986

ПАСХАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ 1953 ГОДА

Один из интереснейших американских журналистов, Харрисон Солсбери, в те времена корреспондент "Нью-Йорк Таймс" в Москве, вспоминает ту зиму как постепенное нагнетание смутного чувства надвигающейся опасности. Неясно было, откуда грянет: "Я чувствовал направляющую руку на руле, но не понимал, по какому компасу кормчий рассчитывает свой путь".

13 января утром он понял. На последней странице "Правды" в хронике он прочел сообщение, "от которого и теперь меня мороз продирает по коже". Признаться, и меня продрало, когда я перечитала это хроникальное сообщение: "Установлено, что все эти врачи-убийцы, ставшие извергами человеческого рода, растоптавшие священное знамя науки и осквернившие честь деятелей науки, — состояли в наемных агентах у иностранной разведки. (...) Большинство участников террористической группы (перечисляются еврейские фамилии. — Р. З.) были связаны с международной еврейской буржуазно-националистической организацией Джойнт. (...) Другие участники террористической группы (две русских, одна еврейская фамилия — Р. З.) оказались давнишними агентами английской разведки".

И под конец — многообещающее: "Следствие будет закончено в ближайшее время".

Вникните в стилистику этого сообщения. Ведь это же лично он — товарищ Сталин. "Растоптавшие священное знамя науки и осквернившие честь деятелей науки" — ведь это он. Помните тост: "Я пью за ту науку, которая наука!" Это я к старшему поколению обращаюсь, конечно. А вот и для более молодых. В тексте, в придаточном предложении говорится, что один из арестованных получал директивы от Джойнта через "...известного еврейского буржуазного националиста Михозлса". Кто еще посмел бы так выразиться о человеке, которому в 1948 году были устроены грандиозные государственные похороны (далее, два с лишним месяца во всех статьях Михозлс так и именовался, даже в том же косвенном падеже).

"Это сообщение уже давало наперед весь сценарий, — пишет Солсбери. — Я мог бы поименно назвать обвиняемых в будущих процессах: врачи, конечно (лучшие в стране, работавшие в Кремлевской больнице и лечившие членов Политбюро); люди, возглавлявшие органы безопасности (т. е. Берия и Абакумов); евреи (в Политбюро — Лазарь Каганович); те, кто возглавлял внешнюю торговлю (т. е. Микоян, который уже очень низко котиrowался в Политбюро, и Косыгин, котиrowавшийся еще ниже). А Никита Хрущев, так крепко связанный с Украиной? Там все время шли аресты. И неужели же в обвинительном заключении не зарезервировали местечка для агентов-иностранцев — представителей американской и английской разведки? Я так и видел имя Джорджа Кеннана (бывшего американского посла в Москве, друга Солсбери — Р. З.), заочно назначенного на роль организатора заговора; с самого XIX съезда его изображали главнокомандующим международных армий в холодной войне против Москвы. И почему

бы не назначить кого-нибудь, все еще находящегося в Москве, связным между Кеннаном и другими заговорщиками? Например, какого-нибудь иностранного корреспондента...”

“Сегодня это звучит абсурдно”, — заключает Солсбери в 1983 г. Не так уж абсурдно, заметим мы: история с американским корреспондентом Николасом Даниловым произошла года через два после того, как книга Солсбери вышла в свет. Но процитированный отрывок воссоздает атмосферу тех пятидесяти дней — с 13 января по 4 марта — когда каждый из власть имущих, от Берии (по собственному признанию, испугавшегося “впервые в жизни”) до начальника режима какого-нибудь лагпункта на Новой Земле, почувствовал надвинувшуюся опасность. Каждый испугался за себя, испугался смертельно. И потому, вероятно, не следует полностью отвергать то решение “загадки смерти Сталина”, которое предлагает Авторханов: Сталину “помогли умереть”. Уж очень вовремя он умер.

Кстати, на Авторханова уже ссылаются и советские авторы — о, гласность! Правда, для спора: по мнению С. Микояна, “известный зарубежный советолог Авторханов” (кавычки микояновские) стал “обосновывать” легенду, пущенную Василием Сталиным.

Но как бы то ни было, Сталин умер, хотя раввин московской синагоги и призвал свою общину молиться “за нашего дорогого вождя и учителя, Иосифа Виссарионовича Сталина” и назначил следующий день днем поста и молитвы. Об этом тоже написал Солсбери. В Израиле я узнала, что то были дни Пурима. Но москвичи, пришедшие в синагогу, наверное, знали это и тогда. Не говоря уже о самом раввине — Шифлер, кажется, была его фамилия.

Пурим — библейская история о том, как в

Персии, во времена Артаксеркса, злому Амману, замышлявшему истребить всех евреев, не удалось это сделать, — он сам был повешен.

Отождествляли ли евреи дорогого вождя и учителя со злым Амманом? Думаю, что нет. Думаю, что, замороженные общим идолопоклонничеством, они даже в мыслях на такое отождествление не отваживались. Я говорю, конечно, о тогдашнем среднем поколении. Их отцы — ровесники вождя или немного помоложе — может быть, и разрешали себе мыслить по аналогии, но давно уже научились скрывать свои мысли. И потому я верю рассказам наших ровесников, что они не чаяли ничего хорошего от этой смерти. Скорее всего, они уже вообще ни на что не надеялись. Тем более, что еще 4 марта "Комсомольская правда" славил Лидию Тимашук, которая "помогла нашим органам безопасности разоблачить шпионскую группу врачей-убийц", а журнал "Знамя" и в конце марта продолжал разоблачать "Джойнт", врачей-убийц и израильскую разведывательную службу.

Интеллигенция рыдала о вожде; "простые люди" отнеслись философически. Ссылный писатель Леонид Радищев рассказывал, что в северном поселке, где он жил, его утешил пьяница-плотник. Выпивши с утра, тот шел по улице, громко рассуждая сам с собой: "Ну, и умер. Ну, и положат в гроб. Ну, и похоронят. Как-никак, человек все же".

А в Москве Солсбери, возвращаясь на рассвете с телеграфа, где он отправлял в Нью-Йорк свою статью о похоронах, увидел, как работяги, стоя на приставных лестницах, снимают с фасада Дома Союзов громадный портрет Сталина. Портрет рухнул на тротуар. Кто-то крикнул: "Осторожно!" Другой голос ответил:

— Ничего! Он уже не понадобится!

Прошло еще двадцать шесть дней. Шла пасхальная неделя — в понедельник 30 марта у евреев был вечер первого седера¹, тысячи тысяч раз изображавшийся художниками христианских стран. Вечер, когда надо вспоминать, и радоваться, и есть горькие травы и опресноки, и пить вино — четыре бокала.

Много ли еврейских семей в России устраивали seder в марте 53 года? Думаю — невеселый то был праздник.

А в субботу 4 апреля — в страстную субботу (заходила уже католическая пасха) — металлический голос московского диктора зазвучал в комнатах и бараках, хижинах и дворцах, каютах и поездах огромной страны, двигаясь по часовым поясам с запада на восток, шаг за шагом, час за часом; дошел до Тихого океана, а там его уже подхватили другие, нерусские голоса. И так и катилось по меридианам и параллелям земли: "...обвинявшиеся во вредительстве, шпионаже и террористических действиях... были арестованы НЕПРАВИЛЬНО, БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЙ..."

...НЕПРАВИЛЬНО, БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЙ...

Очень я люблю эти слова в этом контексте и каждый год их вспоминаю — вот уже тридцать пять лет.

И еще я люблю спрашивать людей:

— Где вас эти слова застали?

Моего мужа они застали на лагпункте "Спорный", в 500 км к северу от Магадана. Но беззвучно — радио у них там не было. Там, на Спорном, они уже закончили свою работу — строили аммонитовые склады. Ждали перевода на новый лагпункт — там еще бараки были не выстроены. Не работали — бывает же такая удача! Подфартило. Как говорилось там: "День кантовки

— месяц жизни”. И позвали его в контору, чего-то там записывать. Сел он записывать. Начальник куда-то вышел, а тут принесли газету, ”Магаданскую правду”, в каждом городе своя правда была. И прочел он на четвертой странице сообщение Министерства внутренних дел СССР...

Я спрашивала — не раз спрашивала:

— И не поверил своим глазам?

И всегда получала в ответ:

— Почему же не поверил? Я сообщениям этого министерства привык верить.

— А потом?

— А потом начальник пришел. Я ему газету подвинул. Он прочел. Нахмурился страдальчески и говорит:

— Как же так? Что ж теперь скажет капиталистический Запад?

Газета ”Таймс”, которую еще наши деды уважали, писала в эти, примерно, дни (6-го апреля):

”Сообщение это так сильно повредит иностранным компартиям, что вряд ли советское министерство иностранных дел имело к нему касательство”.

”Таймс” думала о компартиях, а мелкий колымский начальник — о капиталистическом Западе.

Надо сказать, что ”Таймс” откликнулась на события всех позже. 4-го она сообщала как о главном событии о том, что русские помогают репатриировать британских пленных из Кореи. 5-го вообще был первый день Пасхи, и газета не вышла. И только 6-го, и только на шестой полосе, внизу, она с британским хладнокровием сообщила о реальных признаках изменения советской политики — а именно об оправдании врачей. ”Это воистину примечательный документ, — писала газета, — из которого ясно, что нынешнее правительство собирается устроить

публичную стирку сталинского грязного белья”.

Французы, явно по случаю Пасхи, не успели перестроиться: в прокоммунистической ”Нувель Критик” врач Луи де Гийян только еще выражает свое негодование по поводу ”этих монстров в белых одеждах”.

Зато американцы! Конечно же в Москве не дремал Харрисон Солсбери — как сам он себя называет, ”жестконосый репортер”. В смысле — упрямо сующий свой нос куда не просят. И его корреспонденции, проходившие тройную цензуру, и материалы, которые он посылал дипломатической почтой и которые потом великолепно обрабатывались в нью-йоркской редакции, — все сыграло. Даже часовые пояса — потому что ночные, т. е. предутренние его сообщения попадали в американскую печать утром того же дня.

Кстати, о ночных сообщениях. Мне рассказывал Семен Черток: в ночь на 4 апреля пополз по Москве смутный слух — то ли кого-то из врачей выпустили, то ли выпускают... Что-то просочилось. И он поехал через всю Москву на Патриаршие пруды к друзьям — и на Садовом кольце увидел: в окнах то тут, то там вспыхивал свет. Этой ночью Москва оживала. И когда он приехал на Патриаршие, в доме его друзей не спали.

— Откуда вы знаете? — спросил он входя.

— Нам позвонили! — отвечали ему.

А на улицах Тель-Авива люди, к которым подходил корреспондент — ”простые израильтяне”, — говорили:

— Пасхальный подарок!

Но вернемся к американской прессе. ”Нью-Йорк Таймс” за 4 апреля... Нет, наверное лучше вернуться назад. К середине января 53 года. Мы узнаем, кстати, что в вечер 13 января, когда

было опубликовано взбудоражившее весь мир сообщение об аресте врачей, Сталин появился в Большом театре, что давно не делал. Конечно, со свитой (американский корреспондент перечисляет свиту в том же порядке, в каком это делает советский — потому что тут все важно! — Молотов, Маленков, Берия, Ворошилов, Хрущев и другие). "Все выглядели хорошо и были в прекрасном настроении", — сообщали иностранные корреспонденты от себя. Послы подтверждали: Сталин выглядит прекрасно. Правда, индийский посол, Меннон, потом рассказал Солсбери, что Сталин все время рисовал на бумаге красным карандашом волков. "Русские крестьяне знают, что делать с волками, — сказал он послу. — Они их убивают". Посол оторопел. Солсбери тоже.

Гарри Шварц, обрабатывавший в редакции "Нью-Йорк Таймс" московские материалы, писал, что, по-видимому, обвинение врачей — первый шаг к новым процессам, подобным тем, что происходили в 1936—38 гг. На процессе 38 г. кремлевские врачи Левин и Казаков были обвинены в том, что *по приказу Ягоды*, тогдашнего начальника Госбезопасности, убили Горького, Менжинского, Куйбышева, опять-таки применяя "неправильные методы лечения". Кстати, отмечает Г. Шварц, показания о "неправильных методах лечения" на процессе 1938 г. давал сегодняшний обвиняемый — профессор Виноградов.

Выводы Шварца: над Берией, который в Политбюро курирует органы безопасности, нависла серьезная угроза. И — антисемитская кампания, которая в 1948—1949 гг. проводилась в завуалированном виде, теперь стала открытой.

Впрочем, этот аспект ускользнул только от внимания автора статьи "Конец дела врачей", недавно напечатанной в газете "Московские новости". По-видимому, за давностью лет. Или

потому, что ему недоступна иностранная пресса того времени. Но скорее всего потому, что тут уже есть традиция: Никита Сергеевич Хрущев тоже этого аспекта как-то не заметил.

Зато западные газеты писали о нем тогда довольно много, и израильские тоже. Иерусалим прямо заявил: "Кровавый навет". Израильские газеты заговорили о том, что возможна высылка всех евреев в Сибирь. Еврейские организации США заявили, что обвинение — насквозь ложное и что, по-видимому, антисемитизм стал главным принципом кремлевской политики. Министерство иностранных дел США: "По-видимому, это новый этап советской кампании против евреев..." Сенатор-демократ Герберт Лиман: "Сталин принимает эстафету у Гитлера". Доктор Перельцайг (Еврейский конгресс, США): "Пусть помнят, что, проводя антисемитскую политику, они развязывают руки силам, которые никакое государство уже не сможет контролировать".

Да что там Еврейский конгресс! Даже в передовой "Правды" от 6 апреля 1953 г., хоть и глухо, хоть и прикровенно, хоть и окольно, говорится именно об антисемитизме: "Презренные авантюристы типа Рюмина... пытались разжечь в советском обществе... глубоко чуждые социалистической идеологии чувства национальной вражды".

Так что — весной 1953 г. в попытке "разжечь чувства национальной вражды" сознавались, хоть и спихивая ее на никому не известного Рюмина. А уж потом — извините. Даже Хрущев этого не сделал.

Тут, видимо, ждать покаяния не приходится. Легче реабилитировать тысячи погубленных большевиков и вбить еще один осиновый кол в урну с пеплом Сталина, чем признаться, даже задним числом, в антисемитизме. Как в стыдной болезни.

Я понимаю, признаваться в антисемитизме — стыдно. Понимаю мистическое, первобытное представление: пока вещь не названа — ее как бы не существует. Но это "как бы" — обманчиво. Даже когда стараешься обмануть других — а может, и себя? — и называешь антисемитизм антисиионизмом. Это все равно, что называть СПИД — скарлатиной. То болезнь и это болезнь, даже первые буквы одинаковые — но это не одно и то же. Антисемитизм — болезнь человечества, старинная и опасная, разражающаяся в кризисных ситуациях, когда тот или иной народ начинает искать причины своих бед вовне, на стороне. Обычно последствия бывают трагическими — для всех. И потому эту болезнь нельзя лелеять: ее надо лечить.

Но давайте вернемся к той пасхальной неделе в 1953 году. К газете "Нью-Йорк Таймс" за 4 апреля. К ее первой странице, где в правом, "красном" углу, огромными буквами: **СОВЕТЫ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ЗАГОВОРА НЕ БЫЛО. ПРИЗНАНИЯ БЫЛИ ВЫ-ПЫТАНЫ** (только так могу перевести английское слово "extorted").

А слева, на этой же странице, тогдашний министр иностранных дел, Джон Фостер Даллес предупреждает, что Советский Союз — серьезная опасность, несмотря на его "мирные шаги" (это все — еще до предстоящего "духа Женевы"). Статья Солсбери, которая начинается так: "Сегодня рано утром..."

Израильские газеты 4 апреля не вышли — была суббота. Но 5-го в "Джерузалем пост" шапка: "Советы изумляют мир, выпустив врачей. Поступок Маленкова приветствуется как шаг к миру". (Они приписывали это Маленкову, а американцы, сразу же — Берии.)

Американские газеты на следующий день принялись оценивать и обсуждать происшедшее.

Писали, что тому есть внешние и внутренние причины — борьба между наследниками Сталина и "мирные шаги" навстречу Западу. Гарри Шварц рассуждал: теперь коммунистическим партиям станет лучше, а то из них начался отлив, но, с другой стороны — теперь **все** признания, на **всех** процессах ставятся под сомнение! Дипломаты предупреждают, что освобождение врачей не обязательно означает прекращение скрытой антисемитской кампании в СССР. "Некоторые источники" (не названные): неизвестно, откажутся ли Советы от антисемитской и антисионистской кампании, поскольку она им помогает и на Ближнем Востоке, и среди неонацистов в Западной Германии.

Но это уже следующий день.

Есть в жизни такие часы, которые всем современникам запомнились. К примеру: как ты узнал про начало войны? И вот это — 4 апреля.

Одиннадцатилетняя девочка слушала сообщение, прижавшись к матери. Когда дошло до недопустимых приемов следствия, она с ужасом прошептала:

— Значит — их пытали, да?

Рассказывает бывший москвич, профессор Агурский: "5 апреля мой день рождения. Я пошел за покупками к метро "Дворец Советов". Вижу — у забора, где газеты вывешивались, народ стоит, читает. Я подошел, стал читать, увидел фамилии — сердце екнуло, решил, что уже расстреляли. И вдруг... У меня прямо глаза на лоб полезли. Я повернулся, говорю:

— Вот видите!

Никто мне не ответил".

Писатель и переводчик, Александр Воловик (тогда жил в Горьком) рассказывает, что в институте, где он учился, к нему подошел декан, пожал руку и сказал:

— Очень рад, что с вашего народа снято такое обвинение.

Мой муж принес газету в барак и показал литовцу Альфонсасу (им обоим оставалось сидеть еще двадцать один год). "Это наша с вами свобода", — сказал он.

И я, на станции Средне-Белая, говорила пожилым латышкам, встречающим Пасху: "Это всем нам, всем..."

Шла по земле пасхальная неделя.

ПОРТРЕТ АБСОЛЮТНО ПРЕКРАСНОГО ЧЕЛОВЕКА

В 1954 году в Москве, в доме на улице Воровского, писатели выбирали делегатов на свой второй съезд (первый, как известно, имел место за двадцать лет перед тем). Выбирали по-настоящему, не по заранее утвержденному списку.

Список избранных зачитывался в соответствии с количеством поданных за кандидата голосов.

Первым номером прошел Борис Пастернак.

Вторым — Фрида Вигдорова.

Кто же была Фрида Вигдорова?

Родилась в 1915 г., всю жизнь прожила в Москве; учительница младших, потом — старших классов; журналистка, писательница. Первая ее книга — "Мой класс" — вышла в 1950 году. Непритязательная книга о первом учебном годе молодой учительницы, только что окончившей институт: никакого опыта, все, чему учили в институте, не находит применения, а детей много, все мальчики (десять лет — с 1944 по 1954 — в Советском Союзе обучение было отдельным), и дети, даже самые благополучные, нуждаются в чем-то, не предусмотренном ни школьной, ни институтской программой. Она ощупью ищет это самое непредусмотренное и необходимое, и в конце концов оказывается, что к

ученикам, к классу в целом единого пути нет: к каждому сердцу (потому что именно сюда, к сердцу старается пробиться молодая учительница) ведет отдельная и непростая дорожка. И это не совсем то, что в учебных планах называется "индивидуальный подход". Учатся дети, учится учительница — но и не научившись еще, не набравшись самого скромного опыта, она без слов сообщает и передает своим ученикам, а заодно и читателям, что-то единственное, чего больше нигде не найдешь. Читатели — школьники и их родители — почуяли это сразу. Книгу полюбили, а заодно полюбили и автора.

Критика книгу хвалила, осторожно и снисходительно. Рядом с появившимися тогда "Алыми погонами" Изюмского (тоже школьная повесть, только там — суворовское училище, советский кадетский корпус) она была странно аполитична, несовременна: она не "мобилизовывала", не "разоблачала"; имя великого сталина (так и произносилось, как одно слово) в ней не называлось ни разу (и это, когда даже "Книга о вкусной и здоровой пище" начиналась цитатой из вождя). Раздельное обучение и задумано-то было, чтобы растить солдат, а не неженков, а в этой книжке процвел какой-то питомник нежных чувств. С другой стороны, после войны "утешительная" литература осторожно поощрялась: в этот разряд попадали и Вера Панова — для взрослых, и Фрида Вигдорова — для детей. Нужны были оазисы среди "выжженного каленой метлой" советского быта. Ее попросили сделать литературную запись воспоминаний Любви Тимофеевны Космодемьянской, матери знаменитой Зои и ее младшего брата, тоже погибшего на войне. Фрида написала эту книгу, щедро отдав титульному автору свои нравственные постулаты и душевные богатства. Говорят, Л. Т. Кос-

модемьянская в книге мало на себя похожа. Но, тем не менее, — а может быть, именно потому — эта книга очень нравилась читателям.

Пошли читательские письма — дети и взрослые задавали вопросы. "Вот у вас в книжке... нельзя записывать, кто плохо себя вел... а наша учительница говорит..." Все-таки Павлик Морозов остался национальным героем — как же быть с доношением?

Летом, на даче, прибежали две девочки и один мальчик.

— Тетя Фрида, он говорит, что не ненавидит фашистов!!!

— Не ненавижу, — сказал мальчик, тихо и упрямо. — Я их никогда не видел — как же я могу?

Он был равнодушно-спокоен: видимо, не раз думал обо всем этом раньше. Девочки кипели:

— Тетя Фрида, ну скажите ему! Скажите, что-бы он...

Что-то она сказала своим убедительным голосом. Мальчик пожал плечами, явно не убежденный. Старшая девочка (12 лет) кричала: "Я не понимаю!" — "И я не понимаю, — сказала Фрида, — я стараюсь понять". Когда дети ушли, она подумала вслух: "Трудно ему будет".

Вероятно, ему и в самом деле пришлось нелегко. Он был из тех, кто задает вопросы не старшим, а самому себе.

В то лето у Фриды Вигдоровой вышла новая книга — "Дорога в жизнь". Это повесть о воспитатнике Макаренко Калабалине (как и в "Педагогической поэме", где он был одним из главных героев, в вигдоровской книге он называется Карбановым). И вдруг оказалось, что Калабалин кому-то неугоден: кажется, он во время войны попал в окружение и потому стал "подозрительным"; так или иначе, кто-то власть имущий су-

рово сказал, что "Калабалина мы прославлять не будем". И тут автор вступился за своего героя.

"Вступиться" — глагол совершенного вида, как бы единовременный, одноразовый. Поднялся на собрании и заступился за кого-нибудь; вступился за обиженного; вступился за кого-то на улице... В Советском Союзе тогда — да и теперь, вероятно — "вступиться" — понятие длительное, многократное, многолетнее, так, во всяком случае, понимала этот высокий глагол Фрида Вигдорова. Пройти длинную лестницу — то вверх, то вниз — в поисках того, кто сказал "не будем прославлять", искать и искать того, кто сможет снять невидимое клеймо, найти причину — первоисточник клеветы, персональный донос или просто примечание... Но кто же не знал тогда и не знает теперь, что это невозможно? И кому же охота снова и снова ударяться лбом о непрошибаемую стену? Лестница уходит неизвестно куда, "значительное лицо", которое может принять решение, неуловимо, а донос — да кто же вам покажет донос? И люди качали головами: "Да, безнадега!", а друзья говорили: "Да охота тебе возиться с этим Калабалиным! Только терять время!", а в редакции советовали браться за другую книжку. Она все это слушала с удивлением: ей было ясно, что дело надо довести до конца. Простая, кажется, вещь — но до чего же трудная. Она довела дело до конца, на это ушло несколько лет. О детском доме, в котором работали Карабанов с женой, написаны три книги — трилогия.

Опять дети (и уже не московские, самим своим рождением в столице привилегированные), опять проблемы воспитания характера, которые у Вигдоровой всегда оказываются воспитанием сердца, и тихие подвиги терпеливой любви, такие для нее естественные. Все три книги написаны

от первого лица, но интонация становится особенно достоверной в третьей книге — когда рассказ ведет жена Карабанова, во время войны оставшаяся директором эвакуированного детдома. Все переменялось: нет рутины, такой успокаивающей, нет дня без непредвиденных катастроф (а в голодную зиму все может стать катастрофой), нет больше непоколебимой уверенности, что если не все люди, то по крайней мере все дети — добры по природе. Как-то она очень серьезно попросила подругу, вернувшуюся из лагеря, когда кончилась сталинская эра: "Дай мне фамилию самого мерзкого человека, которого ты видела за эти годы. Мне для книжки нужно". Подруга назвала одного из лагерных начальников. Его фамилию получил двенадцатилетний детдомовский стукач. И все эти книги Вигдоровой — райский сад, хоть и с заползшим туда змеем. Но в райском саду змей — одинок. А главное ощущение райского сада — всепроникающее тепло, несмотря на стужу. Тепло, счастливое тепло, охватывающее читателя — даже такого, который потом скажет, что это "не настоящая литература".

Был у Фриды Вигдоровой этот редчайший и опасный для нее самый дар — излучать счастливое тепло. В этом тепле у самых закостеневших людей, по-видимому, расширялись сосуды; они становились веселыми, сами не понимая почему. Одно письмо из райцентра — туда она поехала хлопотать, чтобы старикам-колхозникам покрыли крышу, начиналось так: "Здравствуйте, Радость!" А написал письмо секретарь райкома комсомола, который и видел-то ее один раз. Крышу старикам покрыли (кажется, даже дефицитным шифером), о чем секретарь и докладывал. Это было ее собственное излучение, и каждому казалось, что оно направлено

на него персонально: как-то раз она зашила порванный пиджак предприимчивому журналисту, после чего он предложил ей немедленно любовь и впоследствии — брак. Она изумилась искренно. "Но ведь вы... — сказал журналист, — вы... вы мне так истово зашивали пиджак!" Писательница Катя Баронина (автор забавной детской книжки "Удивительный заклад") вернулась после десяти лет лагерей и сказала, что прежде всего хочет увидеть Фриду, что все десять лет ее вспоминала. "Да разве вы были знакомы?" — "А как же? Перед посадкой я зашла в Детгиз, и там она была, и мы так замечательно поговорили..."

"Так замечательно поговорили..." У нее всегда было время для "замечательного" разговора, и, может быть, главное в этих разговорах, переходящих порой в исповеди, было то, что она всегда, всем сердцем была на стороне собеседника, не говорила ему мягким голосом: "А вот тут, Коля, ты не прав!" Она очень рано почувствовала, что человек ищет не справедливости, а чего-то совсем иного, и когда позднее у Герцена прочла, что справедливости он будет искать у квартального, а от друга ждет только любви и понимания, очень радовалась и как-то незаметно распространила это правило далеко за пределы дружеского круга. Она не вершила справедливость, а помогала выбраться из трудного или неприятного положения, а если не могла помочь — все равно помогала.

Пришло письмо из провинции: молодую преподавательницу музыки выгоняют из музучилища за сожительство со студентом. Фрида поехала туда, потушила скандал, преподавательнице дали закончить учебный год, за это время ей удалось найти работу в Москве.

Приятельница рассказала интересную историю: семью Волконских, возвратившихся из Па-

рижа, отказываются прописать в Москве, милиция дает двадцать четыре часа на сборы, а глава семьи тяжело болен, а ведь — потомки декабриста!

”История во вкусе Калло!” — говорит интеллигентная приятельница, пожимая плечами. Фрида берется за дело: идет к международнику Жукову (когда-то с ним вместе работала в газете), тот звонит министру иностранных дел Шепилову (тому самому, ”и примкнувшему”): ”К нам едет делегация из Франции, спросят, где Волконские — что мы скажем?” Идет к Михалкову — после ”Дяди Степы — милиционера” милиция ему ни в чем отказать не может. Волконских прописывают.

Приходит письмо из лагеря (Сосьва, Северный Урал). Дело происходит в конце 50-х годов — от мальчика, который... Боюсь ошибиться, не помню в точности его дела, кажется, хищение каких-то деталей для радиоприемника. Фрида добирается в этот лагерь (в первый раз в жизни летит в самолете и на всякий случай пишет нечто вроде завещания детям), получает свидание с автором письма (который в лагере прочел ее книгу), возвращается в Москву, печатает статью о мелком уголовном деле и непомерно тяжелом наказании и добивается досрочного освобождения.

Все они потом бывали у нее — и Волконские, и учительница музыки, и похититель радиодеталей, и Калабалины. Сначала в крошечной коммуналке на Ермолаевском, потом на Аэропортовской в кооперативном писательском доме.

Был и такой случай. Двух молодых поэтов, студентов Литературного института собрались исключать за формализм. Уже готовилась проработка. Она пришла на эту проработку с журналистским удостоверением. Написала статью.

Поэты остались в Литинституте. Года через два один из них вдруг подошел к ней в столовой Дома литераторов — впервые. Пошел проводить до метро, по дороге рассказывая о своих чрезвычайно влиятельных друзьях (они и в самом деле у него завелись), а потом, как бы вспомнив:

— Фрида Абрамовна, вы можете прописать меня в Москве?

— Могу, — сказала она. — Но ведь я — для бедных. Для тех, у кого больше никого нет. Вам тут могут помочь...

И добросовестно перечислила несколько имен, среди которых были и его новые друзья — Грибачев, например.

— Я не хотел бы их беспокоить, — сказал он с неудовольствием.

— Ничего, — сказала она. — Им это будет нетрудно.

Потом она со вкусом пересказывала этот разговор, гордясь своей непреклонностью. Насколько я помню, это был единственный в своем роде случай. Те, кому она помогала — а число их росло непрерывно, — становились друзьями и сами включались в цепочку помогающих, каждый на доступном ему уровне. Нельзя было, попав в ее орбиту, не попытаться ей помочь. Так и получилась та удивительная "круговая порука добра", которая заставляла вполне заурядных людей хоть раз в жизни взвалить на себя чужую заботу или беду, забыть успокоительное "все равно ничего не выйдет!", напрячь обленившиеся душевные мускулы, рискнуть, осмелиться. И иногда — получалось. Ей рассказывали, и она радовалась. Это была награда.

Был тогда такой шуточный лозунг: "Будем, как Фрида!". "Ведь это значит — будем, как дети!" — перевел Илья Аграновский. Ну, конечно. Это никому не удавалось, но очень пригодилось как мера вещей.

Удавалось "быть, как Фрида" только одной категории людей — героям ее собственных книг. И Марина Николаевна ("Мой класс"), и Галина Константиновна (трилогия "Это мой дом"), и даже Любовь Тимофеевна Космодемьянская ("Повесть о Зое и Шуре"), и Саша — героиня последних вышедших книг "Семейное счастье" и "Любимая улица" — все они — Фрида. И все-таки они были беднее Фриды, как создания всегда беднее создателя, будь он хоть сам Шекспир. Она естественно передавала своим персонажам — кому собственный жизненный опыт, кому привычки, кому — размышления, часто невеселые, и всем — неисчерпаемую душевную щедрость. В трудных ситуациях (не более трудных, чем ей самой выпали на долю) ее персонажи вели себя так, как она. И тут-то ей переставали верить: такого не бывает! — Но как же не бывает, когда я сама видела... — Ну, это единичные случаи! Исключения!

Школьный друг, когда она только начинала работать над первой книгой, сказал ей: "Ты никогда не будешь писательницей, потому что у тебя односторонне положительный взгляд на человеческую природу".

Это не официальные критики писали — это говорили друзья, советчики, братья-писатели. Некоторые понимали, в чем дело, но все равно не соглашались. — "Ты меришь собой! — говорили ей. — Нельзя, эта мерка неправильная". — "Но почему?" — "Ну, видишь ли... Вот, я написала, например, что Вася в общежитии у девочек всем понравился, потому что починил стол. У тебя этот Вася не только починил бы стол, но сделал бы новую электропроводку для всего общежития, а вокруг дома разбил бы сад. Ты-то, вероятно, именно так бы и сделала, но..."

Короче говоря — нетипично.

Мы теперь отплевываемся от реализма — и социалистического, и несоциалистического — и ищем в свободном мире свободных способов самовыражения. Но рецепты реализма — чтобы было типично! — все равно настигают нас повсюду, во всех жанрах: и в космической фантастике, и в унылой порнографии, и в самых дерзких антиутопиях. Правда, с некоторым сдвигом по фазе: лучше пересолить, чем недосолить. По-прежнему разоблачаем, только наоборот. Как в известном споре, запечатленном Сергеем Довлатовым: "Это ты-то ненормальный? Ты как раз совершенно нормальный. Это я ненормальный!" Гордимся ненормальностью. По новой, обратной мере вещей.

О Фриде шутили: у нее в романе двое погуляли под дождем, и у них родился ребенок.

Это недалеко от истины. Она сама честно признавалась, что "об этом" писать не умеет. Ее книги пропитаны той любовью, которую Толстой считал самой высокой: любовью деятельной. Эту любовь она излучала и вызывала в других.

Ее выбрали депутатом райсовета, — это было почетно, и в сущности для многих ничего, кроме почета, не означало. Она же сразу отнеслась к этому как к "должности" — с упором на долг, на обязанности. Были и некоторые связанные с этим права, — например, право добиваться улучшения жилищных условий москвичей, ютившихся в подвалах. Насколько трудно было реализовать это право, свидетельствовали записи в ее депутатском блокноте, некоторые из них недавно опубликовала Лидия Корнеевна Чуковская — близкий и нежно любимый друг Фриды.

Росла известность, росло общественное признание — количество добровольно принятых на

себя обязанностей росло тоже. Вокруг Фриды всегда, где бы она ни жила, возникало "телемское аббатство" — плотный, веселый круг близких по интересу и по духу людей. Но оно не давало укрытия — все больше и больше народу шло к ней со своими бедами. Знаменитые писатели, депутаты Верховного Совета, пересылали ей читательские письма, ими полученные, с припиской: "Дорогая Фрида Абрамовна, вероятно, это Вас заинтересует. Нельзя ли помочь?" Она разводила руками: у них же гораздо больше возможностей, чем у меня! И — делала то, о чем они просили. Николай Оттен, которого все это очень забавляло, прислал ей пародийное письмо с фразой: "И вообще, Фрида Абрамовна, пора Вам принять меры: Евтушенко уже давно не был за границей!"

Она уже не могла работать дома — телефон звонил непрерывно, а она заканчивала "Любимую улицу"; пришлось работать в библиотеке. Надо было добиться московской прописки для Надежды Яковлевны Мандельштам, это не удавалось; позже это удалось сделать Ахматовой. Родилась внучка — в той же квартире. Надо ли объяснять русскому читателю, что значит быть бабушкой в Советском Союзе?

Оттепель кончилась. Поднималось новое поколение — будущие диссиденты. У Фриды в доме появился Амальрик, которому она помогла восстановиться в университете, Есенин-Вольпин, Александр Гинзбург. Это были новые люди — шестидесятники. Они ей нравились, она присматривалась к ним...

Когда она в первый раз слегла, врач сказал ей:

— Вы — загнанная лошадь. Понимаете? Загнанная лошадь!

— Можно, я буду пони? — спросила Фрида. В ней было 150 сантиметров росту, и сравнение

показалось ей неправомерным.

Ее отправили в Малеевку — отдохнуть. И тут арестовали Бродского.

Фрида знала о Бродском от Ахматовой, от Надежды Яковлевны Мандельштам, от Адмони, от Эткинда: молодой поэт, талантливый, популярнейший среди ленинградской молодежи. И, разумеется, с трудной судьбой. Тот, о ком Ахматова написала: "Золотое клеймо неудачи На еще безмятежном челе". Не помню, нравились ли ей стихи самого Бродского — действительно, не помню, да и не в этом было дело. Она мгновенно поняла, что он — поэт, которого преследуют за то, что он поэт.

Поначалу арест Бродского от Фриды пытались скрыть. Никто не сомневался, что она немедленно кинется на помощь, а ее уже надо было беречь. Пока москвичи судили да рядили — сказать ли, когда, как — пришла телеграмма от Бориса Вахтина, прямым текстом обо всем сообщавшая. Она поехала в Ленинград. Времена менялись: "Литературная газета" не дала ей командировки. В зал суда, набитый заранее подобранной "публикой", она прошла по писательскому удостоверению.

Когда "публика" увидела, что неизвестная женщина все что-то строчит и строчит, поднялась, как пишут в советских газетах, "волна протеста". "Отнять у нее, что она там пишет! Отнять! Дружинники куда смотрят?" Фрида села на свой блокнот и сказала: "Попробуйте!"

Не осмелились.

А потом в Москве Фрида стояла у выхода из метро "Аэропорт" со стопками своих перепечатанных на машинке записей и предлагала выходящим: "Хотите запись суда над Бродским?" Ее узнавали, удивлялись, но экземпляры хватали. Знакомая осторожно спросила: "Зачем вы

это? Ведь у вас могут быть неприятности!" — "И пусть!" — сказала Фрида.

Иностранная печать опубликовала вигдоровскую запись суда над поэтом. Имя судьи Савельевой стало нарицательным: французский поэт Добжинский написал о ней целую разоблачительную поэму, кажется, в Германии была даже радиопьеса.

А в Советском Союзе шла борьба за освобождение Бродского — долгая, трудная, с широким вовлечением друзей и знакомых, ближних и дальних, глухая борьба, без всякой надежды пробиться в отечественную масс-медиа. Конца этой борьбы Фрида не увидела. У нее оказался неоперабельный рак. Она об этом не знала. Она говорила: "Моя болезнь называется — Бродский".

Американка, которая тогда была в Ленинграде, увидев ее портрет, изумилась: "Так вот какое у нее лицо! — "А какое?" — "Ну... прелестное, мальчишеское лицо. Как же она решилась?"

И когда узнала, что у нее рак: "Ну да, когда у человека это... Ему уже все равно!"

А не так давно один француз, желая уяснить себе механизм ее бесстрашия, сказал:

— Но ведь за ней кто-то стоял?

— Кто?

— Ну... Вы говорите — ее отец был партийный? Декан факультета?

— Он умер в 1955 году. Да если бы он и был жив!..

— А она сама была членом партии?

— Беспартийная.

— Религиозная?

— Не знаю.

Фрида была из обыкновенной, не номенклатурной семьи. Была у нее только одна, от родителей полученная, привилегия: она росла в

Москве, которая голодала всех меньше. Квартира на Сретенском бульваре, где она жила в детстве, была обыкновенная московская коммуналка с шестью примусами на кухне; школа, где она училась, была обыкновенная школа (44-я школа на Мясницкой); книги, которые она читала, читали все. Но из этой коммуналки она вынесла первое, на всю жизнь запавшее впечатление — почему-то не о ссорах на кухне (могло ли быть без ссор?), а о слепом старике-юристе с красавицей-женой; но в обыкновенной школе ее учительницей становится замечательный человек и педагог Анна Ивановна Тихомирова; но среди книжек, которые она читала, были книги Лидии Чарской, которую и она, и Вера Панова, и Евгения Гинзбург до конца жизни защищали за то, что "будила эмоции и умела о них говорить". Она брала свое Добро там, где находила.

Один наглядный урок: как-то десятилетняя Фрида провожала домой свою учительницу — тут у них происходили самые интересные разговоры. Им навстречу попался нищий, и Анна Ивановна подала ему милостыню. Фрида, вечно слышавшая вокруг себя, что "не ест тот, кто не работает" и что "жалость унижает человека", подняла на нее вопрошающий взгляд. Анна Ивановна сказала: "Им хуже, чем нам".

Были потом в ее жизни люди — неглупые люди, — которые говорили: "Отдавать столько сил, ума, таланта на борьбу за Калабалина (за Иванова, Петрова, Бродского)? Это же мелко! Какая-то теория малых дел!"

Не помню, что они предлагали взамен. Может быть, борьбу за мир?

Фрида не бралась за дела вселенских масштабов — она спасала одиночек, которые к ней обращались, прямо или через других. Потому что знала: тому, кто просит о помощи, — хуже. И

помогала. И под конец оказалось, что, помогая одному человеку, она схватилась с самим Левиафаном — государством. Она не убоилась и победила, своим сердцем и своим пером. Только плодов своей победы не увидела.

Есть такая притча о голубке — Фрида ее очень любила. Человек захотел спасти погибающую голубку. И тут перед ним оказались весы. На одной чаше лежала голубка. Бог сказал ему:

— Перетяни чашу весов, и голубка будет спасена.

Человек обрадовался и нажал рукой на пустую чашу. Но чаша с голубкой перетягивала. Тогда он поставил ногу. Ничего не изменилось.

— Ляг на чашу животом, — сказал Бог.

— Как — вскричал человек. — Всем животом — за одну голубку?

— Только так! — сказал Бог.

Так Фрида Вигдорова понимала свое литературное и человеческое служение.

Но не хочется кончать рассказ о Фриде Вигдоровой на такой патетической ноте. Она любила хорошие концы в книгах и умела их устраивать в жизни. Вот несколько историй.

Анна Ивановна Тихомирова с сестрой и братом жили в собственном, крошечном особнячке. Кому-то он понадобился: всех выслали из Москвы как "чуждый элемент". Фрида добилась их возвращения — не легко это было. В это время она была начинающей журналисткой.

В начале 30-х годов, окончив педагогический техникум, Фрида работала учительницей в Магнитогорске. Там произошел трагический случай. Душевнобольная девушка из общежития, где жила Фрида, покончила с собой. Нашли ее дневник. В нем было написано: "Моя лучшая подруга — Фрида Вигдорова. Я ей оставляю свой крестик". Фриду вызвали в райком комсомола: "Зна-

чит, крестик носите, ком-со-мо-лоч-ка! Значит о Боге рассуждаете, ком-со-мо-лоч-ка? Значит..." В комнате, где это происходило, сидел еще один человек. Он сказал: "Да ладно тебе! Девочка и так убивается!" Вывел ее на лестницу и сказал: "Уезжай-ка ты домой, в Москву, так лучше будет". "Он тогда меня спас", — говорила потом Фрида, вспоминая эту историю. Через много-много лет, в пятидесятых годах, она, уже известная писательница, получила письмо из Сибири: тот самый человек, который ее спас, отсидевший в дальних лагерях два или три срока, просил помочь с его реабилитацией. Когда его реабилитировали (разумеется, она сделала все, что нужно и немного больше), он приехал в Москву и пришел к ней. Они встретились на лестнице — он сразу узнал ее. "Я — Дориан Грей", — смеялась она.

Нет ничего труднее, чем написать — словами — портрет абсолютно прекрасного человека. Даже Достоевскому это удалось только один раз. Но как же нам быть? Ведь мы жили в одно время, рядом, мы ее знали.

То, о чем я рассказала — лишь малая часть. Но я перечитала написанное — и не поверила себе: неужели она могла все это сделать? Как же она могла?

ЛАБОРАНТКА ОРНА

Если бы я писала о ней сценарий, то он начинался бы так: Сидит Орна перед телевизором и лузгает семечки. Шелуха летит прямо в голубой экран. У Орны распущенные волосы цвета и консистенции вороной конской гривы. Узкое лицо, иссушенное огненными страстями и солнцем. По лицу катятся медленные слезы, которых она не замечает. На экране плывет "Лав боут" ("Корабль любви"), двести двадцать седьмая серия, и лысый капитан прижимает к белому кителю маленькую дочь.

И вдруг:

— Ми-до, ми-до...

Это музыкальный звонок в дверь.

Орна вспархивает, улыбается голубому экрану, бросается к двери, распахивает ее. В дверях немолодой грузный человек с полиэтиленовой сумкой. Он беззвучно ставит сумку на пол — сумка опадает и обрисовывает формы заключенных в ней бутылок. Он протягивает руки и Орна прыгает к нему на шею, болтая тонкими ногами в узеньких джинсах. Он ставит ее на пол, нагибается и вытирает ладонью слезы с ее щек.

— Опять лав боут? — спрашивает он по-английски.

* * *

Орна работает лаборанткой в одном из иерусалимских институтов. Ей двадцать пять, она давно уже живет одна. Зарплата ей хватает, и она часто делает подарки своим племянникам и племянницам, которых у нее больше десятка. К тому же ей делает подарки Джон.

Джон — ирландец, католик, служит в войсках ООН. Ему пятьдесят два года, и давно бы пора ему бросить солдатское дело, которое с каждым днем становится опаснее, пора бы вернуться к себе в Эйре, может быть, и жениться, если он до сих пор неженат. Орне, во всяком случае, он говорит, что не женат. Иногда у нее возникают мимолетные сомнения, особенно когда она бывает у него дома и видит на столике в спальне фотографию пожилой аккуратно причесанной дамы. Но Джон говорит, что это его сестра. Незамужняя — поэтому у нее та же фамилия. Он с ней переписывается регулярно. Орна видела конверты. Писем она не видела, да ей и неинтересно.

Родители Орны — религиозные евреи из Марокко. Все родственники — и братья, и сестры — тоже религиозные: мужчины носят кипы, женщины — платочки. Да и сама Орна кончила религиозную школу. Но она давным-давно уже не соблюдает кашрут¹, даже в Судный день не постится — куда там!

Прошел Судный день, и лаборантка Сонечка — замужняя женщина из России — спросила ее: — Ну, что ты делала вчера?

— Ела свинину! — ответила Орна, блеснув глазами. И рассмеялась. Смех у нее беззаботный, заразительный, прямо детский. И фигура детская. И голос.

У Сонечки, лаборантки из России, смех тихий, движения тихие, глаза тихие, внимательные, всегда готовые к удивлению. Орна не перестает

ее удивлять, хотя они уже три года работают вместе. И все эти годы Орна рассказывает ей о Джоне — и не только о Джоне.

Впрочем, Орнин Джон — предмет обсуждения всех трех лабораторий. Мужчин тут мало, и у них другие разговоры. Но женщины — сабры и новые олимки², сефардки и ашкеназийки — все любят посудачить по этому поводу.

— Я ее спрашиваю, — рассказывает пожилая Рут, начальница лаборатории, — а вы с ним о чем-нибудь разговариваете? — А как же! — А о чем? — Да о чем все женщины с мужчинами разговаривают.

Молодые женщины смеются. Незамужним ответ вполне понятен, а замужние грустно думают, что уже забыли, о чем Женщины разговаривают с Мужчинами. У них разговоры другие, семейные.

Сонечка далеко не все понимает из того, что говорится, — иврит для нее только приоткрывает свои тайны. Орнины разговоры — школа иврита. Но как-то незаметно она пристрастилась не только к Орниным рассказам, но и к самой Орне.

Дома она всегда рассказывает об Орне мужу. Муж заинтересовался, и когда Орна долго не упоминается, он сам спрашивает:

— А что Орна?

— А что Орна? — отвечает Сонечка. — Орна как Орна. В отпуск собирается.

— Да? А как же Джон?

— А Джон уже был в отпуске, в Ирландию ездил. Разве я не рассказывала? Да я ж тебе про шофера рассказывала — это как раз все было, когда Джон в отпуске был.

Шофер автобуса дальнего следования однажды ночью увидел Орну недалеко от родительского дома — Орна как раз возвращалась с батмицвы³ самой младшей сестры — и предложил

подвезти. Автобус был пустой, они разговорились, шофер был очень хороший парень, спросил адресочек, телефончик; Орна ему очень серьезно объяснила, что у нее есть друг, но он через неделю уезжает в отпуск, так что на этой неделе пусть не звонит, а со следующего воскресенья — пожалуйста.

— Ой, Соня, что я тебе скажу!.. Он вчера позвонил, я сказала, чтобы он сегодня приходил, а у меня как раз сегодня женские дела. Как же мне быть?

— Орна, но неужели обязательно так сразу?

— И она на меня смотрит, как будто не понимает, — рассказывает Сонечка мужу, смеясь и краснея. — А потом спрашивает: "А как же?" Просто так, знаешь, до того просто, я не умею объяснить...

Орна поехала в отпуск на Кипр, на целых десять дней.

— И там она познакомилась с французом, а потом с немцем. "Так чудно время провела! Такие хорошие ребята!" А сначала она с израильтянином познакомилась, но потом сказала ему: "Ну, слушай, зачем я тут с тобой буду? Ведь мне таких, как ты, и в Израиле достаточно".

— Ну, и он?

— Она говорит — понял. Не обиделся.

Рассказы эти уже стали частью их супружеской жизни.

Однажды в их семейной квартире зазвонил телефон. Подошла Сонечка, и вдруг ужасно покраснела и заговорила на своем иврите-кала⁴. Чаще всего она повторяла: ло, ани ло яхола (нет, не могу...). Помолчит-помолчит, и опять: ло яхола⁵.

— Ты с кем это? — спросил муж.

Краснея и смущаясь, она объяснила, что на улице, когда она шла на работу, к ней подошел

молодой фотограф и предложил ее сфотографировать. Она сказала, что у нее нет денег, а он сказал, что денег не надо.

— А телефон-то ты зачем дала? Домашний телефон?

Сонечка подняла удивленные глаза и правдиво сказала:

— Не знаю.

На следующий день Орна влетела в лабораторию к Сонечке и озабоченно сказала:

— Там тебя израильтянин спрашивает. Ничего, красивый.

Сонечка охнула, прижала к щекам руки, сказала:

— Ой, что же мне делать?

— А что? — заинтересовалась Орна.

Сонечка торопливо объяснила. Орна стала сочувственно-серьезной. Сонечка сказала:

— Да я не хочу к нему выходить! Кто знал, что он такой настырный!

— Нельзя не выходить! — степенно сказала Орна. — А то он обидится. Ты выйди и скажи ему: так мол и так, у меня муж, ребенок, и я не хочу.

Сонечка так и сделала. Молодой израильтянин возразил:

— Ну и что, что муж? Он куда-нибудь поедет, а ты мне позвони.

— Ло яхола! — сказала Сонечка решительно и, круто повернувшись, ушла. У самых дверей она одним глазком посмотрела назад — парень немедленно ей улыбнулся. Он все еще стоял.

— Не понимаю, — сказала Орна. — Ты ему сказала, а он не понял? Или он очень глупый, или ты как-нибудь не так сказала!

Муж обещал:

— Я ему уши оборву, подожди. Но и ты! Как это — вышла к нему, разговариваешь... О чем тебе с ним разговаривать?

Муж стал ждать Сонечку на улице после работы и познакомился с Орной. Они друг другу понравились. Орна сказала, что он чем-то похож на ее Джона.

— Скажи, он любит выпить? — спросила она Сонечку. — Любит? Так приходите ко мне в гости. Джон уехал на две недели и все мне оставил — у меня есть ящик пива и виски, наверное, бутылок двенадцать... Они, знаешь, ооновцы, очень хорошо живут. Пиво пьют каждый день! А я все равно ведь не пью!

Сонечка с мужем пришли к Орне в гости; кроме виски и пива было еще зажигательное марокканское кушанье, которое Орна сама любовно приготовила для приема гостей. Разговаривали обо всем, хоть и на иврите-кала: и о Джоне, и о начальнице-Рут, которая девочкой была в Освенциме, и о молодом фотографе. Орна сказала:

— Он все-таки странный. Она же ему сказала, что замужем и не хочет. Как же это можно? Если бы к моей сестре он так пристал — о, ему бы было! А ты, конечно, правильно делаешь, что ревнуешь, а то какой же ты мужчина!

— А Джон тебя ревнует?

— Джон, — сказала Орна. — Джон мне говорит: развлекайся! Он же не муж мне.

— А ты бы хотела замуж выйти, Орна?

— Замуж? Зачем?

— Ну, все-таки... Чтоб детей иметь, например.

— Хватит с меня детей, — отмахнулась Орна. — Одних племянников сколько! И с сестренкой, с Шуламит, которой недавно бат-мицву справляла, я всю жизнь возилась. Не-е, зачем мне дети?

— А за Джона ты бы вышла замуж?

— Так он же назареянин! — сказала Орна.

Орна проводила их на автобус — Сонечкин муж доказал, что он любит выпить. В автобусе все объяснял Сонечке:

— У евреев никогда не носились с девственностью. Это уже все христиане придумали. Назаряне. А ты, если он еще будет звонить, я тебя побью камнями. А девственность у евреев не ценилась. Где про это в Торе?

— Ладно, ладно, — смеялась Сонечка. — Я все понимаю.

— А ты, если только...

— Ты хорошая девушка, — сказал Джон, оставляя бутылку. — Садись сюда.

Он посадил ее на стол перед собой и сказал:

— Хочешь со мной поехать?

— В Эйлат? — загорелась Орна. Она давно уже мечтала съездить в Эйлат и посмотреть подводный аквариум.

— Не в Эйлат, — сказал Джон задумчиво. — Зачем нам с тобой в Эйлат. У нас с тобой и тут Эйлат — лучше не надо.

Орна согласилась и соскользнула со стола к нему на колени. Он сказал:

— Вот всегда ты так! Никогда с тобой не говоришь серьезно.

Он приехал раньше, чем она его ждала, — она очень удивилась, когда увидела его машину. Обычно он ждал ее за углом, а тут подкатил прямо к работе: открыл дверцу, и она влетела туда, как воробей.

Дома все пошло не по порядку: сначала они лежали в постели, а потом ужинали, и вот теперь опять... Орна понимала: он соскучился. Она его жалела: ведь у него никого тут, кроме нее, нет. Она бы с удовольствием ждала его каждый вечер, но он же должен служить. Она лежала с ним в постели, и жалела его, и думала, сколько женщин он, наверное, обнимал в разных частях света, и от этого сладко замирала. Ей нравилось, что он с ней бережлив, осторожен. В общем, она его

любила и понимала, что любит.

— А тот шофер? — спрашивала Сонечка. — А те ребята, француз и немец? А?...

— Как ты не понимаешь! — говорила Орна. — Это совсем не то! А фотограф больше не звонит?

— На прошлой неделе позвонил.

— Ну?

— Ну, и я ему все сказала, как ты велела: спокойно, тихо. И он вдруг сказал: не хочешь, так и не надо. Как будто только сейчас понял.

Орна рассказала об этом Джону. Он слушал вполуха, потом спросил:

— Так она мужу и не изменила?

— Что ты! — сказала Орна. — У русских с этим строго.

— А у вас, марокканцев?

— У нас этого не бывает, — сказала Орна.

— Так что ты бы мне не изменила, если бы была моей женой?

— Как можно? — сказала Орна.

Джон помолчал, потом сказал:

— Меня переводят. Я отсюда уезжаю.

Орна заплакала сразу — обильно и беззвучно. Она стала прижиматься мокрым лицом к его груди. "Обними покрепче", — сказала она. Но он возразил:

— Подожди обниматься. Поедем со мной. Выходи за меня замуж.

— Как можно! — прорыдала Орна. — Ты же назареянин.

— Ну, и что? — рассердился он. — Ты, что ли, правоверная еврейка? Пожалуйста, брось все эти глупости, поженимся и поедешь со мной.

— Скажи еще — в церкви! — рыдала Орна. — А эта... сестра твоя что скажет?

— Сестра умерла.

— Бедный! — залилась Орна. — Никого у тебя, кроме меня!

— Ну, выйдешь за меня? — спросил он, утешив ее.

У нее были влажные глаза и нежная улыбка.

— Не могу! — сказала она. — Ты же назарянин.

И Джон уехал.

Если бы я писала сценарий, то он кончился бы так:

Сидит Орна перед телевизором, лузгает семечки и шелуха летит в экран, и слезы катятся по ее узкому лицу. Но экран темный, телевизор не включен.

— Ми-до, ми-до, — проигрывает музыкальный звонок.

Орна открывает. В дверях молодой человек — то ли это тот шофер, то ли немец или француз с острова Кипр. Орна вытирает слезы. Он замечает это и спрашивает:

— У тебя неприятности?

— Нет, — отвечает Орна, улыбаясь улыбкой Кабирии. — Просто смотрела телевизор. "Лавбоут".

”АМЕРИКА — ЗЕ БЬЮТИФУЛ”

Мы с вами очень взрослые люди. Во всяком случае, считаем себя таковыми. Во всяком случае, нам льстит, если наши дети признают нас таковыми. Во всяком случае, это льстит нам первое время — когда не наши дети уже ставят это обстоятельство под сомнение.

Когда взрослыми нас (вас) считают внуки, это тоже льстит, но по-другому: возвращает в категорию родителей и приятно молодит. Только нужно помнить, что это эфемерная молодость.

Так вот: мы с вами очень взрослые люди.

Если вам пятнадцать и вы это читаете, — значит, вы знаете, что такое эмиграция. Потому что если вам неизвестно, что это такое, вы этого не читаете. Кроме того, вы знаете, что такое любовь — разнополая и однополая, что такое секс (из школы или из жизни, или, если вы скороспелка и все узнали давным-давно, то от подруг), и что такое международный террор, и сколько весит Брук Шилдс, и сколько стоит ”кадиллак” модели 83 года, и что такое ”травка” или ”доп”, и что такое ”балдеть” или ”ловить кайф” (по-американски это другие слова, но понятия вам ясны), и кто открыл Америку, и кто хочет ее закрыть, и еще массу вещей, которые ваши бабушки узнали одновременно с вами.

Если вам хорошо за тридцать, то вы своими

боками знаете, что такое "моргидж" и что такое отказ, что такое "вэлфэр" и инженерская зарплата; пятый пункт и номер сошиэл секьюрити; "драйверс лайсенс" и паспорт; Сохнут и Толстовский фонд; комьюнити и коммунальная квартира; чиновники ОВИРа и чиновники госдепартамента; экзамены и интервью. Вопросы любви и секса не стоят с прежней остротой.

Если же за тридцать вашим детям, то вы знаете, что такое Сталин. Но частично забыли. Все забыли.

А все мы вместе, такие взрослые, хорошо знаем одно: наше время — время жестокое. Или, как выражался Лесков, — сильное.

Это военное время, почему кое-где и объявлено военное положение. Стреляют из всего: из винтовок, пистолетов, пулеметов, базук, "катюш" — с неба и с земли и во все стороны. И, как правило, попадают.

А музы, которым полагается в это время молчать, не хотят молчать; одни переучиваются, чтобы стихи были без складу и ладу; музыка без гармонии и, пуще, мелодии; живопись и ва-яние — без всем надоевшего эстетизма; другие убегают обратно в когда-то покинутые гнезда. Поэзия и музыка — в песенку, изобразительные искусства — в рекламу, история — в сказку... Терпсихору трогать не будем, она спасается по другим причинам — туда, где ей дают приют, — сами знаете, куда.

Когда-то, в начале 20-х годов, Шкловский дал длинный список запрещенных отныне слов. Там были глаза, небо, соловьи, весна и многое другое. То был не приказ, а констатация: для этих слов в уродливой эстетике 20-х годов действительно не было места. Дети с врожденным духом противоречия обращались за ними к старым книжкам

с ятиями и рисунками Самокиш-Судковской. Так что позднесоветское викторианство сороковых-пятидесятых — это не только приказ начальства, но и реакция выросших детей на антиэстетику их детства.

Реакция реакцией, но и от двадцатых годов что-то осталось и стало реакцией на принудительное викторианство. И опять мы стесняемся произносить запретное слово "красота", разве что с тремя "р" — крррасота — вроде бы прилично усмехаемся над своими восторгами.

А как хочется быть храбрым и говорить то, что хочется. Черт возьми, ведь мы в свободном мире! И вот я, расхрабрившись, делаю признание:

Мне нравится песня "Америка — зе бьютифул". Тем более, что я с этими словами согласна. Я видела Америку из окошка самолета, из вагонного окна, из-за ветрового стекла и просто так, неограженным глазом — правда, таким глазом много не увидишь. И — да: Америка прекрасна. Сколько воды (это уже глазами израильтянки), сколько лесов, сколько гор! И оба океана. И там не говорят "поедем к морю", там так и говорят: "поедем на океан". Нам даже неловко употреблять это обширное и глубокое слово, а американцам хоть бы что, они привыкли. И в их произношении слышится невнятный шум большой воды.

Конечно, кроме всего этого, есть и города: города-спруты и города просто, и городки самой одноэтажной Америки, которая за эти годы стала двухэтажной, и заброшенные городки, угасающие.

Но и в городах — Америка: вода, деревья, летающие светляки размером с махаона, синие птицы, серые белки и очень много неба. Даже в Нью-Йорке, даже в Манхэттене. Выйдите из

делового центра на Бродвей или на Амстердам-авеню — смотрите, сколько неба. Не меньше, чем где-нибудь в чистом поле.

И есть люди — американцы. И есть люди — эмигранты. Впрочем, как мы все знаем, это страна эмигрантов, попавших сюда по своей и не по своей воле, белых, черных, желтых и шоколадных. Страна, в которой расовая гордыня дозволена только черным, и в меньшей степени евреям, а белые англо-саксонские протестанты должны ее вежливо скрывать.

Белые англо-саксонские протестанты имеют наименование УОСП (WASP). Это аббревиатура: Уайт Англо-Саксон Протестанс. Слово это еще означает "осы". И когда спрашиваешь кого-нибудь: вы уосп? — этот кто-нибудь смущенно улыбается и подтверждает. Многие из них потомки тех, кто приехал на "Мейфлауэре"¹. Их и в самом деле много, этих потомков, и они, как говорят в Советском Союзе, все на учете. Процент миллионеров из их числа невысок, а бедняков много; вроде русских обедневших дворян. Потому что мейфлауэровским происхождением гордятся, как дворянской грамотой или титулом баронета.

Про одного "мейфлауэра" американка значительно более позднего происхождения мне рассказывала.

С американкой этой мы встретились в Новой Англии поздней весной. Мы ходили по лесу; среди огромных деревьев еще лежали небольшие лепешки потемневшего снега. Деревья были те же, что в Подмосковье, — березы, дубы, сосны, елки, — но покрупнее, словно им вольнее рослось в американском лесу. И елки держали лапы не по швам, а вверх, к небу. По небу неслись очень легкие облака, а за лесом был город, в котором когда-то была лесопилка и текстильная фабрика,

и делали кленовый сахар, а теперь городок сникает, и сейчас в нем 400 жителей.

”Один — такой смешной! — спрашивал меня: а это правда, что в Нью-Йорке все курят наркотики? Очень смешной!”

Несколько лет назад тут было много молодежных ”коммун”, жили все вместе, и от этого рождались дети, потом мужчины из этих коммун как-то незаметно исчезали, а женщины с детьми оставались. Потом и они отчалили неизвестно куда.

Так вот, в этом городке жил старик, потомок тех, кто когда-то приплыл на ”Мейфлауэре”, потомок пилигримов, основоположников государства, потомок тех, кто жил в Старом Свете до открытия Америки. Первая глава — очень короткая — в американском школьном учебнике истории тридцатых годов так и называется: ”Мир до открытия Америки”.

Старик жил на вэлфэре. Если все-таки вообразить невероятную вещь (у писателя должно быть сильное воображение!), что тот, кто это читает, никогда не слышал про вэлфэр и не знает, что это такое, — объясню: это деньги, которые работающая часть населения платит неработающей. Как в Древнем Риме. Неработающая часть не работает, потому что не может найти работу: или не может найти работу по специальности или по вкусу, или не может еще или уже работать, или еще по каким-то причинам — пусть вам социологи объяснят, если вы такой дотошный. Вроде собеса, но шире. И больше.

Так вот, тот старик жил на вэлфэре. И машина у него была, конечно: грузовичок. Я говорю об этом не для того, чтобы вызвать из ваших детских воспоминаний привычный образ безработного на машине, а потому что грузовичок в конце рассказа выстрелит, как ружье.

На нем он объезжал мусорники. Это не сделало его миллионером, хотя, по-моему, современные мусорки для этого хорошо приспособлены, но помогало ему сохранить независимость и уважение к себе.

— На Пасху, — рассказывала американская приятельница, — он принимал от меня продукты.

Разговор у нас с американскими славистами всегда идет по-русски. Они хорошие специалисты и хорошие люди: им и в голову не придет мучить меня — и себя заодно — моим английским языком. Поэтому иногда приходится домысливать живописные подробности, которые они бы сообщили, если бы держались родной речи.

— Он принимал от меня продукты, да! Но! Но он уезжал на мусорки, находил там, например, стулья, чинил их и — дарил.

— Кому дарил?

— Мне. И другим, кто ему давал продукты. Понимаете, он ведь такой! Ведь нельзя же брать просто так!

— А почему он был на вэлфэре? Пил?

— Пил? Конечно, пил. И вообще. И у него была — как это у вас называется? — Каммон ло вайф?

— Гражданская жена?

— Да, несчастная такая, старая замученная женщина. Наверное, сумасшедшая. Однажды у меня в доме были негры: она подошла к окну и смотрела, смотрела... Так смотрела! Вот такими глазами! Сумасшедшая! И вообще она была больная. Зимой ее положили в больницу. Она долго там лежала, всю зиму. На Пасху должна была возвратиться домой.

И вот, понимаете, она не захотела домой. В больнице она отдыхала. Там ничего делать не надо было, а дома, знаете, трудно — у нее тяжелая работа по дому была, знаете, как в

девятнадцатом веке: печку топить, и стирать руками — она, по-моему, не очень-то стирала, но все-таки надо было, и вот этот мусор, что старик привозил... Так она сказала доктору, что не хочет домой. Что она лучше будет в больнице работать как уборщица.

А старик ее ждал. Приходил ко мне, сидел, и часами плакал. Пегги! Пегги! Я даже не знала раньше, как ее зовут. На Пасху он надел свой единственный грязный костюм — ну, грязный, откуда же у него чистый? — и поехал за ней на своем грузовичке. А она сказала доктору, что не хочет возвращаться. Даже к нему не вышла.

И тогда он убил себя. Сел в свой грузовичок, закрылся, открыл выхлопной газ и умер.

Смотрите! Эмигрант из Англии!

Она показывала вверх, я посмотрела. На голой березовой ветке сидела небольшая птица и спокойно смотрела на нас. Потом вскинула голову и кого-то позвала. Ей не ответили. Она улетела, не оборачиваясь.

— Эмигрант? Из Англии?

— Скворец. Их оттуда завезли когда-то. Там они были очень полезны. Как и в России. У вас, я помню, есть такая картина: "Скворцы прилетели". И все радуются — значит, весна.

— То грачи.

— Разве? Но у вас скворцы тоже считаются полезной птицей, правда? А у нас они стали бедствием. Все клюют. Сначала вредителей, а потом зерно. Ужас!

Она задумалась, и вдруг лукаво подмигнула мне:

— Аллегория?

Помню, переводчицы-москвички хотели приблизить к русскому читателю ничего не говорящее название "Убить пересмешника". Хотели сделать: "Убить скворушку".

— А что дальше было со стариком? Кто-нибудь нашелся у него? Дети?

— Никто не откликнулся. Может быть, и были дети — кто знает?

Она объяснила:

— Он был очень гордый. Наверное, если у него кто-нибудь был, он не хотел, чтобы они знали. Он, наверное, думал, что он для семьи — пятно. Такой взгляд, понимаете, он ведь старик, у него взгляды старые. Он был очень гордый.

Наверное, они были очень гордые, эти пилигримы, которые прибыли сюда каких-нибудь 12 поколений назад, — это если считать рамками поколения тридцать лет. Не ладили с начальством, и все им было не так. И Карл Первый, такой красавец, охотник и всадник, которого Ван Дейк рисовал, им не нравился, а уж про Бэкингема, над которым мы в детстве так плакали, и говорить нечего — он им казался самим дьяволом; и протестанство им было не протестанство, а какой-то чуть ли не католицизм, и парламент, и суд, и земля... Нет, земля, наверное, им нравилась, только они думали, что все на ней надо переделать и начать сначала. Вот почему тут Новая Англия, и Лондон есть, и Плимут. Они были англичанами, и думать не могли, что их потомки над англичанами будут смеяться и изображать их дураками в популярных телесериалах. Они были англичане, островитяне, море было со всех сторон, они его не боялись — по привычке и потому, что были уверены в Божьей помощи, поскольку только они одни верили правильно. И уплыли создавать свою Новую Англию в дикую эту Америку, которую Колумб вовсе не для них открывал. Нечистых, в отличие от праотца Ноя, они с собой не брали. Они были горды своей добродетелью.

Потом они стали не ладить с собственным

начальством и друг с другом — потому что гордым людям трудно ладить между собой, если гордость у них коллективная, а потом они стали гибнуть и погибли бы, если б в конце концов не поладили с индейцами, которые научили их выращивать кукурузу и разводить домашних индеек, только у них они назывались не индейками вовсе, а турчанками (терки). И эти гордые люди, понявшие значение мирного сосуществования, учредили День благодарения, который есть самый прекрасный из человеческих праздников. Потому что всего труднее быть благодарным. Кому и знать это лучше, чем Америке, которая кормит три части света и тщетно ждет от них благодарности. "Они, как дети, хотят, чтобы их любили! — недоумевал один французский писатель. — И, как дети, обижаются, что их не любят!"

С любовью, конечно, сложно. С нелюбовью куда легче. Как говорили в лагерях: "Да кого он любит! Он и сам-то себя раз в год любит по обещанию!" Нелепая эта поговорка забирает далеко в глубину, если вдуматься. Но гордые люди, которые наверняка мало кого любили, в том числе и самих себя, устроили этот праздник — День благодарения. И — скажем прямо: есть за что благодарить. Какую индейку под клюквенным соусом подают в этот день в американских домах! И на стол кладется осенний букет в соломенном роге изобилия. И люди вспоминают, что хорошо вспомнить тех, кому они за что-нибудь могут быть благодарны, — и посылают им дико раскрашенные открытки с отпечатанным стихотворным текстом, и иной раз даже приписывают несколько слов. И благодарность в этот день не тяжела. Хороший праздник.

...Был бы это День благодарения. Старик бы

зажарил индейку, богатая соседка дала бы ему клюквенный соус — он для нее тоже много делает. И он ждал бы у ворот больницы, чтобы потом вместе с женой радоваться и благодарить... Она не вспомнила бы, что предстоит зима, стирка, печка и что там еще у них, у американцев, какие трудности, — нам не понять все равно.

Он, наверное, мало с ней разговаривал. И о чем разговаривать? День как день, ночь как ночь: зимой можно прижаться — тепло и запах жилья от знакомого тела, летом она жарит рыбу, которую он поймал тут недалеко, в речке, жарит прямо во дворе, и запах веселый, и они пьют вместе, но она пила немного, он наливал ей, как леди...

Нет, это был только предпасхальный день; все можно переменить, переделать, передумать, одно нельзя изменить — конец. Особенно такой, который человек сам себе положил. Гордый человек.

Он все унаследовал — он был тот же, что и двести лет назад, — только время вокруг него менялось, уходило и менялось; с самого детства он видел, как оно уходит и меняется, и ему в нем остается все меньше места. Двести лет назад он ушел из этого меняющегося — вытесняющего его — времени на простор, где время стояло, ожидая его, и земля ждала его рук, и с Богом можно было разговаривать по-своему. А сейчас не стало ни просторов, ни новых земель, ни самого Бога, и никому он особенно не был нужен, со всем, что в нем было, — а он-то знал, что в нем много есть, только отдать некому, и дела для него не осталось.

Он бы улетел к новым планетам — люди это делают уже — но он уже и тогда был не молод;

даже не знал, что это возможно. Вселенная не расширялась, она обступала его все теснее, пока не загнала в угол — с единственным существом, которому он был еще нужен.

Но оказалось, что и этому существу он не нужен.

Можно было ворваться туда, в больницу, увезти ее силой — кто бы остановил? Или упротить ее...

И он захлопнул дверцу машины и включил свою смерть. Гордый человек, потомок гордых людей.

ПРЕКРАСНАЯ ПЛЕМЯННИЦА

Алле Марголиной

Мне хотелось написать этот рассказ по-английски. Я даже как-то раз расхрабрилась и начала. Нужно ли говорить, что я отступила почти сразу и — вот перевод, неполный, бледный...

Лил летний дождь. В Вашингтоне дожди вертикальные (не горизонтальные, как в Израиле), но очень обильные, тем не менее, очень длинные, и, что характерно, абсолютно несвоевременные. То есть они раздражаются как раз тогда, когда метро не ходит — воскресным вечером, например, или если те милые люди, к которым вы собрались на "парти", живут где-нибудь в гордом Джорджтауне, который вообще от метро отказался напрочь; или когда вдруг у вас почему-то нет денег на такси. Конечно, все, сейчас написанное, относится только к тем, у кого нет машины. К нам. И к вам, читатель(ница), если вы приехали недавно, а родились на свет уже давно.

Тут сошлись почти все обстоятельства: и воскресный вечер, и снобистский Джорджтаун, и отсутствие машины, конечно, и приятелей с машиной — тоже. Деньги на такси у нас, правда, были, зато надежды вызвать такси не было. О, ленинградцы, о москвичи, знайте, что "два часа ожидания" в Вашингтоне безнадежнее, чем любовь на склоне лет.

В общем, мы пристроили внуку у телевизора, взяли зонтики и вышли на нашу четвертую улицу Вест из нашего прекрасного многоквартирного дома, с лифтом и паркингом, где только изредка и только под покровом вечерней мглы может произойти "маггинг". "Маггинг" — это один из способов отъема денег, которые человеку на этот случай следует иметь с собой. Человеку показывают кулак, или что-нибудь поблескивающее в кулаке, и в ответ он немедленно подает, сколько может. Поэтому мы не очень любили покидать в вечернюю пору наш прекрасный дом, из спален которого виден обелиск-памятник первому президенту Северо-Американских Соединенных Штатов. Но тут покинули. И с нами была Алла.

Алла приехала к нам в Вашингтон из Бостона, как раньше приезжала к нам в Ленинград из Одессы. Ей двадцать пять лет. Рост — пять футов десять дюймов. Про вес не будем. Сейчас он сильно упал под влиянием диеты покойного доктора Тарновера, но тогда он был еще хоть куда. И она этого веса не стеснялась, и не надо было стесняться, потому что весомые ее объемы увенчивались прекрасной кудрявой головой.

И вот мы с ней вышли на дождь, ютясь под двумя зонтиками — она-то как одесситка зонтика не признает! — и пошли к перекрестку, к супер-солю, к нашему любимому Сэйфвею, на улицу Ай. По буквенным улицам такси ходят чаще. И — хотите верьте, хотите нет! — мы даже не успели дойти до перекрестка, как остановилось такси. И мы уселись в него, мокрые, несмотря на зонтики, и счастливые, несмотря ни на что. И я села рядом с таксистом, что здесь не принято, но сзади нам втроем было бы тесновато (это было, напоминая, еще до того, как мы познакомились с судьбой и диетой доктора Тарновера).

Мы с таксистом поговорили о погоде и о том, куда нам ехать, и о том, сколько это будет стоить. Он был негр, у него был приятный баритон, и слова он произносил раздельно и отчетливо и вообще производил самое отрадное впечатление. Он немножко повернул зеркало, чтобы смотреть на Аллу, но машин было так мало, что нам это ничем не грозило. И мы двинулись, мерно и неторопливо рассекая теплые волны дождя.

Мне очень трудно судить о возрасте американских мужчин вообще, а негров в особенности. Белые непременно оказываются на десять лет старше, чем я думала, а о неграх я и вовсе ничего не могу сказать. Но все-таки мне казалось, что таксист по возрасту ближе ко мне, чем к Алле. Он рассказал, что живет совсем близко от нас и только что выехал... А откуда мы?

А мы — из Иерусалима.

Он помолчал, потом тихо повторил: Джерузалем. Когда говоришь людям, что мы из Израиля — это не удивляет, — ну, страна, ну, война... Иерусалим звучит иначе. Маленькая девочка однажды с изумлением сказала: но ведь там родился Христос! Нужды нет, что она ошиблась. Круг идей или чувств поднимается тот самый.

— Джерузалем! — повторил таксист, задумчиво, нежно и грустно.

Некоторое время мы плыли через дождь молча. Потом он забормотал, и я прислушалась.

— ...И кажется, что это не машина, а корабль... И мы плывем к городу. Где-нибудь в Африке. И там люди на берегу, и они ждут нас. И там-тамы, и музыка... Вы любите музыку? бум, бум, бум... И девушки... Такие же прекрасные... Это ваша дочь?

— Племянница.

— Такие же, как ваша прекрасная племянница... Они все кончили свои работы, эти люди,

и сейчас у них начинается праздник, и только нашего корабля они ждут. На нем плывут их родные и друзья, и все они везут им всякие прекрасные вещи. Все, все, что им нужно. И украшения. И девушки, такие же прекрасные, как ваша прекрасная племянница, всматриваются в морскую даль — не показался ли уже корабль... А мы плывем и плывем, и музыка с берега до нас доносится — бум, бум, бум... И девушки уже видят нас...

— Вы поэт, — сказала я.

Он пожал плечом.

— Нет, я не поэт, какой же я поэт... Но приходят в голову всякие вещи, вот так, вечером, особенно когда дождь. Все так красиво, и спешить не надо. И музыка.

Он включил музыку, и мы слышали те самые "бум-бум-бум".

— Вам нравится такая музыка? — спросил он.

— Я... Мне...

— Вам нравится другая музыка! Вы, наверное, не привыкли. Но вы все же послушайте: это же красиво.

— Очень красиво, — сказала Алла убежденно.

— Вот, прекрасной племяннице нравится! — сказал он. — Это хорошо.

— Молодым всем нравится, — сказала я заискивающе.

Мне нравился наш таксист. Я люблю людей, которые будят во мне романтические чувства. Больше всего на свете (из вещей идеологического плана) не люблю поговорку "Самая красивая девушка не может дать больше, чем у нее есть" и советский рассказ ранних времен про "домик с золотыми окнами", где оказывается, что золотые окна в твоём собственном доме, а не в домике на далеком холме. И еще не люблю унылое выражение "ну, и что?"

Таксист пробуждал во мне романтические чувства. Встретиться мы с ним несколько эр тому назад, мы бы могли вместе ждать на далеком берегу тот корабль — или пирогу. Мы, может быть, вместе работали на египетских постройках — а что, очень может быть! Или даже раньше, на вавилонских зиккуратах: я была там переводчицей, а он, наверное, играл на чем-нибудь таком...

Он напевал, бормотал: девушки танцуют — волосы развеваются — музыка — барабаны — а корабль, корабль, корабль подходит... Он бормотал, а я писала рассказ — про дождь, таксиста и красоту. Алла молчала, и от этого ее красота с каждой минутой росла в значении. В зеркале сверкала ее улыбка, поблескивал розовый купол головы моего мужа. Мы въехали в Джорджтаун, где нет метро и никогда не будет, и таксист спросил:

— А когда вы поедете обратно?

— Часов в десять, наверное.

— Хотите, чтобы я за вами приехал?

Я очень обрадовалась — не люблю просить знакомых, чтобы подвезли.

— А вам не трудно будет? Часов в десять?

Мы уже подъезжали к тому дому — к милому дому, куда мы еще много раз потом приезжали в тот вашингтонский сезон. Но ни разу больше нам не случилось добираться туда в дождь.

— Но если почему-нибудь... Знаете, если кто-нибудь из соседей там будет...

Он покивал головой и сказал:

— Значит, я заеду. В пол-одиннадцатого.

Мы остановились у освещенного крыльца с четырехзначным номером, вышли и распустили зонтики. И таксист сказал с лиризмом:

— Веселитесь (хэв э гуд тайм). И вы, и прекрасная племянница.

Это было очень приятное "парти", и Алла,

воодушевленная, опять имела успех: около нее сразу же расположился бывший харбинец, приехавший из их теперешнего резиденциального Сан-Франциско, и уже не отсел никогда, и где бы я в этой большой комнате ни находилась, я слышала ее громкий голос и громкий смех; видно, ей надоело быть молчаливым символом и она опять дала себе волю и стала сама собой...

Не помню, кто был гвоздем вечера — кто-то, наверное, был, иначе не было бы такого большого собрания, несмотря на дождь. Всюду звучала русская речь — и ее можно было различить по обертонам: вторая эмиграция, третья, иногда — изредка — даже первая. Или — влажнее: первая волна, вторая волна... Но слышались и американские звуки, и это были те, кто здесь родились — дети и молодые жены... Кто-то, кажется, выступал, и что-то рассказывал — но я не помню. Помню только, что действительно было интересно и приятно, и ясно было, что ни в десять, ни в половине одиннадцатого даже не захочется уезжать. А потом пришла хозяйка, захлопала в ладоши, все стихло, и она спросила:

— Кто договаривался с таксистом, чтобы за ним заехали?

Алла закричала:

— Это за нами, за нами, наверное! — И умоляюще: — Тетя Руня! Еще немножко!

Словно ей было шесть лет. Она не захотела никуда уходить из этой веселой комнаты, где была русская-русская-русская речь.

— И Николай Петрович нас отвезет, ему как раз в нашу сторону!

Николай Петрович встал — дитя первой эмиграции! — и сказал:

— С удовольствием! Нам действительно с вами по дороге. Я как раз...

И я вышла на крыльцо, и увидела нашего

таксиста, и увидела, что дождь перестал — а казалось, он не кончится никогда.

И у таксиста нашего было раздраженное нетерпение во всей фигуре: он стоял, наклонив и выставив вперед голову, и мне было стыдно, что придется отказываться, и я понимала, что во всяком случае надо заплатить за беспокойство, что вот, он заехал, не забыл... Он сердито узнал меня и сказал недовольно:

— Не хотели меня пускать, не поняли. А вы не сказали, как вас зовут.

— Извините, — сказала я. — Но мы не можем... Мы еще останемся... И вот — я сунула ему два доллара. — И не сердитесь!

Он спросил непримиренно:

— Хорошее "парти"? Удачное?

— Очень! — сказала я

— Есть молодежь?

Я кивнула.

— Понятно, — сказал он, покоряясь. — Так и должно быть. Молодежь не хочет расходиться так рано.

И тут мы пожали друг другу руки и посмотрели друг другу в глаза — тысячелетние знакомые, немолодые люди, которые думают о детях — своих и чужих.

Конечно, если бы вышла к нему прекрасная племянница!.. А всего лучше — если бы мы сейчас поехали домой, как договорились.

Но нам ли не знать, что корабли не всегда причаливают к нашему берегу?

ИЗУМРУДНЫЙ ПЕРСТЕНЬ

Памяти Д. Я. Дара

О'Генри на родине сегодня не в чести. Моего мужа после лекции в одном южном университете спросили:

— Кого вы любите из американских новеллистов?

— О'Генри, — ответил он без запинки.

Дружный смех. Как если бы на вопрос "ваш любимый герой" он ответил бы: "Красная шапочка"

И чего смеются? Не верят в О'Генри? Или в "легенды-сказки"? В городке, откуда рукой подать до Мемфиса? Если даже на прозаичнейшем Среднем Западе...

Конечно, городок университетский. Лекции. Студенты босиком, студентки в рубищах или в пляжных туалетах. Прически "архангел" — проволочка из волос параллельно невидимым крыльям. Кампус. Среди сочной зелени — монументальная ржаво-красная скульптура, знакомая нам еще по Иерусалиму, воплотившая мое детское наваждение: "масло" на крокетной площадке. Мой шар вечно там застревал. Вероятно, ваятель пережил то же самое, но теперь с этим разделался. Перед парадным подъездом демонстрация: коренастые девочки с плакатами гуляют в затылок друг другу. На огромных газонах студенты с сэндвичами и книгами.

Университет не очень старый, не очень богатый, — не хуже других. И городок тоже. В этом городке жил дядя Айра. Мы видели его только один раз. Но еще до этого и много лет после мы — сначала случайно, а потом и сознательно — слышали и узнавали о нем всякое, и теперь даже вспомнить трудно, кто и почему нам стал о нем рассказывать. Похоже было, что городок этими рассказами пробавляется не первый год. Мало кто помнил, как выглядел дядя Айра, когда впервые тут появился — теперешние старики тогда были детьми, а стариков в городе осталось совсем мало. Но все соглашались, что он мало изменился, — всегда был такой же маленький и быстрый, и ходил по городу пешком, и даже астма у него была с незапамятных времен, и волосы длинные. Впрочем, насчет волос были разногласия: если бы он ходил такой нечесаный сорок лет назад, — кто стал бы вести с ним дела? А он прославился именно, как говорится, деловыми качествами. У него было фантастическое чутье на недвижимость. Он жил один, в доме, который ему завещала его бывшая квартирная хозяйка, обедал в ресторанчике Монигетти и имел коллекцию часов, которую обещал подарить городскому музею. Дом был старый, машина тоже старая, и, вероятно, он был скуп, но никто этого слова не говорил. Говорили, что он очень богат.

— Дядя Айра, — сказала Бренда Ричардсон. — Мама говорит, что это из-за нас его стали так звать в городе. Он ведь наш сосед, мы с Рейни, можно сказать, у него на коленях выросли.

У Бренды был ясный сине-сизый взгляд и бело-розовая кожа, с которой могут справиться только годы, да и то не всегда. Нам она очень понравилась, мы познакомились на университетском "парти", и она от нас не отходила и

объясняла кто — кто. По специальности она историк, окончила Колумбийский, развелась и вернулась в родной город, где в университете оказалось место.

— А вот это тоже славист, преподает на Гавайях, — говорила она. — Как, вы не знали, что на Гавайях есть университет? Он идет сюда, я вас познакомлю...

И тут что-то, показалось нам, взвихрилось в самой середине комнаты, где мы стояли с бочками, и закрутился небольшой смерч, и все голоса словно загудели, и вкатился человечек. Не вошел, не вбежал, не возник — вкатился, как еж. Он был всех меньше, и действительно у него была какая-то мохнатая голова, и ковбойка распахнута на мохнатой седой груди, словно он ее рванул, и палкой он взмахивал, как хоккейной клюшкой, — но не это было его приметой, его особенностью, — мало ли кто невелик ростом, и фраков-смокингов на профессорских "парти" тоже никто никогда не носил, и таких же патлатых можно было приметить и тут... А он все равно торчал, не вливался, топорщился, как Пан, как леший, как еловая шишка. Перед ним расступались — и его обступали; дальние разговоры стихали — а вокруг него начинался галдеж. И высокий ковбой с Гавайев растворился среди прочих, и только и видно было, как человечек катится к нам, словно связка колючек, перекаати-поле.

Поглядывая боком, из-под брови, он пожал руки и сказал, мешая все акценты, с хрипом выламывая из общеславянской чашобы подходящие слова:

— Прамо не згадаю, колы я говорыв по-руську.

И Бренде:

— О, Бренда! Получил вчера письмо от Рейни. Очень доволен.

Мне показалось, что Бренда закусила губу изнутри.

— Имеете фан? — обратился он к нам. — Я говорю — вы тут имеете фан?

— Дядя Айра думает, что главное — иметь фан, — пояснила Бренда.

— Не для всех, — сказал дядя Айра. — Для меня. Никому не навязываю.

И все, кто его слышал, — а мне казалось, что все прислушиваются, — засмеялись, закатились удивляющим нас твердым расфасованным смехом, и кто-то уже повторял... не навязываю... для меня! (Надо же, какая замечательная шутка!) А дядя Айра уже спешил куда-то из комнаты — и трудно было представить себе, что на километры и километры вокруг кукуруза, а не сосновые леса. Каким ветром забросило сюда это явление фауны — а может быть, флоры?

На другой день мы вместе с Брендой и еще двумя славистами завтракали в университетской столовой, и я мешала Бренде беседовать про научное, расспрашивая ее про дядю Айру. "Я бы подумала, что он хоббит, но у вас ведь их нет, они только в Англии. И почему русский язык? Или, может, белорусский? И вообще..."

И тут-то начался рассказ про дядю Айру, который продлился несколько лет. Про его чудачества. Про его богатство — а ведь появился, можно сказать, ниоткуда, в самую Великую депрессию, и первые дома тогда за бесценок скупал. А потом уже он почти сам и не ездил, а через подставных лиц — потому что его сразу узнавали. А если узнавали — то продавать отказывались — значит, через месяц, через год что-то такое откроется, и цена взлетит. А почему русский? Ничего не известно. Он и на других языках иногда вот так заговаривает. Дядя Айра...

— ...Конечно, он больше друг Рейни, чем мой.

Вот, я вам сейчас покажу Рейни.

Она вытащила из сумочки футлярчик, кожаный, продолговатый; в футлярчике фотография: Бренда, остриженная по-мужски, с двумя блондинами.

— Это он, два года назад. Теперь он не такой. Да, это он, а не я, теперь мы совершенно непохожи, он тут нарочно очки снял. Мы близнецы. Он теперь путешествует, и нам ничего не пишет, а дяде Айре — из каждого города. Мы не обижаемся, как можно? Мы знаем, для них обоих главное — иметь фан.

— Что значит — иметь фан? Для них — что это значит?

— Ну, например... Вот, он мне сказал, что получил письмо от Рейни. Если б я начала — ах-ах, а нам не пишет, а вам пишет, — то он бы с этого имел фан. Нет, вы не думайте, он очень добрый, дядя Айра, но он — как у вас говорят — шутник. Например, если он знает, что миссис Кольман не позвала миссис — ну, скажем, Смит — на свое "парти", то он непременно позвонит Смит: ну как, вы идете?

— Ух ты, — сказала я.

— Да. Но, заметьте: если, скажем, миссис Волдон такое неприглашение безразлично, то ей он никогда не позвонит. Он, понимаете, он... он очень хорошо понимает людей. Вот у нас в городе два рестораника-итальянца, Монигетти и Дони. Ну, конкуренты, конечно, но все прилично. И вот, однажды каждому — заметьте, каждому! — звонят из Сан-Франциско, что там открывают музей — итальянский вклад в культуру Соединенных Штатов. Чтоб они заказали свои портреты... для музея... И чтобы никто пока не знал...

Бренда смеялась от души, ей трудно было говорить. Мужчины тоже стали прислушиваться и

посмеиваться. Видно, история наделала много шума.

— Не забудьте — живописные портреты, не фото! — добавил один.

— А в городе только один портретист... тоже итальянец... ой, не могу!

— Бренда тоже любит посмеяться. Но, правда, смеху было! Все очень скоро выяснилось — дядя Айра зашел к художнику...

— А в другой раз они встретились, Монигетти и Дони. Но художник все равно успел заработать.

— Вот так частная инициатива способствует процветанию...

Мы с Брендой подружились и стали переписываться. Мало того — даже встречались по нескольку раз в год в разных городах — то симпозиум, то конференция (до сих пор не знаю, какая между ними разница). При каждой встрече мы спрашивали: а как наш любимый дядя Айра? И что-нибудь узнавали. Например, когда Бренда приехала к нам в Вашингтон, она рассказала, что теперь любимая идея дяди Айры — что прошлого нет вовсе. Теперь, когда все прямо помешались на своих корнях.

— Но все-таки... Как это — нет?

— А вот так. Дяде Айре не нужно опираться на предков, он и сам твердо стоит на ногах. Так он говорит. Я, говорит, сам по себе и ни в ком не нуждаюсь. И, в общем, так и есть, хотя иногда мне кажется, что он до некоторой степени привязан к нашей семье. И к Монигетти, конечно. Уж если они с ним не поссорились после тех портретов! А он говорит, что у Монигетти отдыхает от "этих янки". И у нас, наверное, тоже, потому что мама до сих пор празднует семнадцатое марта, день святого Патрика — у нас в этот день всегда зеленые гвоздики, и обед, и все такое. Как в Нью-Йорке. Мы ведь ирлан-

дцы, то есть ирландского происхождения.

Вот откуда у нее эти глаза и эта кожа.

Бренда собралась в Советский Союз на две недели. Перед этим она заехала в Вашингтон и появилась у нас — нет ли поручений. Милая Бренда! Другие в таких случаях и глаз не кажут, и звонить перестают, а потом начинается: ах, все было так внезапно! У меня было столько поручений! Мне с собой двадцать дублинок насовали! Милая Бренда! Все взяла, все записала, все выполнила. У нас как раз сидел гость из Швеции. Когда она ушла, он сказал со вздохом: "Праздник для глаз".

И даже тогда я успела спросить про дядю Айру. И пояснила гостю-шведу, что это старик, который не верит ни в прошлое, ни в корни. Подумайте, как интересно!

— Теперь у него другая идея, — обрадовалась Бренда. — Теперь у него идея, что Америка погибает.

Увы! Мы опечалились — решили, что и на нем сказывается возраст.

— Самое интересное — от чего.

— От эмигрантов, конечно!

Бренда помотала головой и сказала: "А-а!" Это американское отрицание. Первое "а" — высокое, второе — низкое, музыкальный интервал тот же, что у ослиного "и-а!".

— А-а, — сказала Бренда торжествующе. — От проходимцев.

— Каких проходимцев?

— Ну, может, я неправильно по-русски выразилась. От тех профессоров, например, которые проходят через города и колледжи, и нигде не остаются. В таком роде. И вообще, что никто нигде стабильно не живет, все стали проходимцы.

— А сам-то он? Сам-то?

— О! Он теперь говорит: я для этого города — аристократ. Все равно, что для Бостона Лоуэлл или Кэббот. В смысле — старожил.

Не помню, когда в рассказах Бренди стало фигурировать дяди-Айрино кольцо... вот с таким изумрудом, настоящим. Он его обещал Рейни, еще когда мы маленькие были. Потому что это его камень, а это очень важно — носить свой камень. Вообще-то мы ведь близнецы, так что это мог бы быть и мой камень — но нет, оказывается, изумруд мужской камень. А вы знаете, что камни бывают разнополые? Дядя Айра в этом уверен. И у каждого — своя сила, и если сила его пропадает, то его надо завязать в белую салфетку с кусочком хрусталя и положить в коробку, а коробку в квашню на сорок дней, и тогда сила вернется.

— Как интересно! А какая у этого изумруда сила?

— Вы не смейтесь. Это, конечно, предания, но все-таки... Изумруд — он помогает от глазных болезней. Разве вы не знали?

Мы не знали. Драгоценные камни как-то не бросили отблеска на нашу жизнь. Правда, когда интеллигенция Советского Союза уверовала в астрологию, муж подарил мне в день рождения колечко с "моим камнем" — аметистом. За семь рублей. Потом аметист выпал.

— А дядя Айра рассказывал, что раньше в России были изумруды, а теперь и малахита не стало, потому что его стали как-то промышленно добывать. Но зато есть бриллианты — черные, белые, желтые, всякие, — и русские ими рынок заполонили, но они не очень хорошие, и гранить их не умеют у вас...

Почему так приятно разговаривать о драгоценных камнях? Вы даже мысленно произносите: алмаз, сапфир, хризолит...

— А что, дядя Айра имел какое-то отношение к ювелирам?

— Трудно сказать. Он ведь вообще много знает. Правда, он маме говорил, что у него кто-то когда-то был в Голландии. А Голландия, он говорил, — страна ювелиров.

В общем, дядя Айра каждый раз как-то взблескивал сквозь Бренду. А потом он пробрался даже в ее письма:

”...А на свадьбу Рейни он не пришел. Так любил его всегда, так хвалил, — а когда Рейни совершает самый серьезный шаг в жизни, вдруг уезжает ”искать свои корни”! Куда — неизвестно. А маме он сказал, что в Рейни разочаровался: он думал, что Рейни настоящий ирландец, а оказывается — он просто янки. Мама говорит, что она стерпела только ради старой дружбы”.

И — из последнего письма:

”...Знаете, где дядя Айра искал свои корни? В Иоганнесбурге. Как у вас говорят, с ним не соскучишься. Алис, жена Рейни — она очень остроумная, — пошутила: вы среди буров искали, или?.. А он отвечает: вот именно ”или”. Мы все очень смеялись. Мама думает, что дело не в корнях, а в камнях, что он заинтересовался бриллианщиками. Он опять у нас сидит чуть не каждый вечер и даже очень подружился с Алис”.

Мы вернулись в страну. Здесь не говорят ”в Израиль”, просто говорят ”в страну”. Словно только одна страна и есть на свете, а все остальное — окрестности: ”Арец” и ”хуц-ла-Арец”¹. В общем, мы вернулись, получили от Бренды вышепротитированное письмо — и переписка прекратилась. На наше ответное письмо отклика не было, на нашу новогоднюю открытку — тоже. Мы даже позвонили в какую-то январскую субботу, памятуя, что дружба важнее экономии, — но чужой голос ответил нам, что Бренда уе-

хала и непременно позвонит, когда вернется. Не позвонила.

Вернее, позвонила через год, в самое Рождество, теплое и дождливое. И сказала, что она в Иерусалиме, приехала с группой, и тоже очень рада, и придет непременно, и... Мне показалось, что голос у нее изменился: в нем прежде было какое-то воркование, а сейчас он словно подсох.

— Европейцы как-то особенно слышат, — сухо вато сказала Бренда. — Дядя Айра говорил: у женщин птичий голос. Среди американок чувствуешь себя на птичьем дворе, среди парижанок — в вольере.

Бренда путешествовала по стране с целым автобусом соотечественниц — могла бы и согласиться с дядей Айрой. Но она, видимо, была настроена на несогласие — даже в европейцы его зачислила, посмертно. Потому что дядя Айра, как оказалось, умер.

— Но то, что он сделал... — сказала Бренда новым, сухим голосом. — Конечно, от него всего можно было ожидать. Но все-таки... Вы помните, я вам рассказывала про кольцо? (Еще бы мы не помнили.) Так с этим кольцом... Дядя Айра назначил нашего отца своим душеприказчиком, знаете? Давно уже. И все так неудобно получилось! Помните — Монигетти? Года два назад мы заметили, что старик Монигетти носит дяди-Айрино кольцо, то самое. Ну, мама — она с ним никогда не стеснялась — спрашивает: Айра, вы подарили Монигетти кольцо? А дядя Айра говорит: не подарил, а дал поносить, потому что у него вечно воспаляются глаза, а от этого воспаления изумруд помогает. Ну, обычная дяди-Айрина история. Ладно. И тут Монигетти умирает. Не сразу, конечно, но довольно быстро, и мама все время помогала миссис Монигетти во время его болезни, и потом тоже, и

вообще, мы и раньше были все дружны, а тут еще больше, и про кольцо вообще все забыли. А тут умер дядя Айра — в один день, он ведь сердечник, у него астма — помните, он так задыхался всегда? В общем, открывают его завешание и оказывается — кольцо он оставляет Рейни.

Тут Бренда сделала драматическую паузу. Она разволновалась, рассказывая, разгорелась. И стала еще большим праздником для глаз.

Ну, конечно, коллекцию городу, дом городу, капитал — чтобы создали фонд его имени... большой капитал. Но, знаете, он последнее время был, наверное, ненормальный. Он ничего не выбрасывал. Какой-то сыр, целые круги — заплесневевший, забытый... Еще какие-то продукты... И этот дом... Плесенью все покрылось... Нет, он под конец... Он, конечно, никогда не транжирил деньги, но под конец... И деньги оставил на стипендию своего имени эмигрантам из города... Не могу запомнить, откуда-то из Центральной Европы, вероятно, но никто не может найти, что это за город. Нет, дядя Айра есть дядя Айра. Мог и выдумать название. Как-то на "К". Нет, не помню. Но кольцо...

Кольцо, кольцо... Что во всем этом так задело Бренду, что даже голос у нее изменился?

— Мы так спорили, так спорили... В конце-концов решили, что папа должен написать миссис Монигетти. В конце-концов, он обязан был это сделать, как душеприказчик.

— Кто же спорил?

— Ну, я, немножко. Я говорила, что это же дядя Айра смеется, это его фан. Я какая-то суеверная из-за всего этого сделалась. Но Рейни и его жена, да и мама... В общем, папа послал, конечно, письмо, и миссис Монигетти так оскорбилась, и ее сын Джон Монигетти — мы с ним ведь так дружили!

Тут Бренда заплакала.

— Из-за этого дурацкого кольца... И Джон... Он прислал письмо, такое грубое. А миссис Монигетти всюду говорит, что дядя Айра ее мужу кольцо сам подарил, что тому есть свидетели. А Джон... Вы его видели, он был тогда на "парти". Такой брюнет, невысокого роста, с широкими плечами... Он-то, Джон, должен был понять, что это все дяди-Айрин фан!.. Но я иногда сама думаю: неужели дядя Айра все это специально устроил? Или просто так удачно для него сложилось? И еще что меня беспокоит — вернее, всех нас... У Рейни пошли... как вы это называете? Ячмени на глазах. То на одном, то на другом! Уж это зачем ему понадобилось?

И правда — зачем? Но если вспомнить дядю Айру, и маленький вихрь, который сам собой вокруг него закрутился в тот единственный раз, когда мы его видели, и мохнатый взгляд, и смешок...

ЖАБОТИНСКИЙ — ПРОЗАИК

Многие ли любители литературы знали — и знают — в Советском Союзе имя Владимира Жаботинского? Кто слышал странно звучащее для русского уха имя "Альталена"? Поколение тех, кто зачитывался корреспонденциями, статьями и фельетонами Альталены, ушло почти целиком: самым молодым из этого поколения сейчас за девяносто.

В советской литературной энциклопедии вы его не найдете — ни по имени, ни по псевдонуиму. Не было такого. В "Краткой еврейской энциклопедии" на русском языке, что сейчас том за томом выходит в Израиле, вы найдете большую статью о Жаботинском, — но о его литературной деятельности там сказано немного: перечислены журналы, где он сотрудничал, перечислены основные произведения, не забыто и то, что он высмеивал стремление евреев-интеллигентов ассимилироваться в русской культуре. "В историю еврейского народа Жаботинский вошел как выдающаяся фигура национального возрождения, как один из крупнейших национальных лидеров", — пишет эта энциклопедия.

Все так. Но сегодня хотелось бы напомнить о Жаботинском — замечательном русском прозаике. Может быть, предтече "юго-западного" направления в русской литературе 20-х годов.

Хотя, в отличие от младших своих современников, Жаботинский не был ни орнаменталистом, ни ныряльщиком за метафорами, ни певцом молдаванских робингутов.

Он семнадцать лет стал корреспондентом газет "Одесский листок" и "Одесские новости" — сначала в Берлине, а потом в Риме. В Риме же он стал "Альталеной" — по недоразумению: думал, это значит "рычаг", оказалось — "качели"...

В 1901 году (ему уже двадцать!) он вернулся в Одессу на каникулы. "К своему великому удивлению, — писал он много лет спустя, — я обнаружил, что за это время я "приобрел имя" как писатель, и господин Хейфец, редактор "Новостей", предложил мне писать ежедневный фельетон с немалым месячным окладом в 120 рублей". Два года он был членом редакции и ведущим фельетонистом этой газеты.

Еще и в 30-е годы старые одесситы вспоминали о нем. "Разве сейчас пишут? Вот Альталена писал..." И — с нежной улыбкой: "Альталена!..."

"Редактор Хейфец умел подбодрить способных молодых людей, — вспоминал Жаботинский. — Под его крылышком начали свою литературную деятельность Кармен, автор рассказов о жизни босяков в одесском порту и голытьбы из нищих предместий, и Корней Чуковский... Когда мы входили с ними в кафе, соседи перешептывались друг с другом: может, было бы лучше, если бы мы не слышали, что они шептали, но поверьте мне, они пели нам дифирамбы, и Кармен подкручивал кончики своих желтых усов, Чуковский проливал свой стакан... ибо его чрезмерная скромность не позволяла ему сохранить спокойствие духа, а я в знак равнодушия выпячивал нижнюю губу"...

А вот как о том времени вспоминает Корней Иванович Чуковский:

”Он ввел меня в литературу. Я... создал свою собственную ”философскую систему”... но никто не хотел меня слушать. И вдруг я встретил его. Он выслушал мои философские бредни и повел меня к Израилю Моисеевичу Хейфецу, редактору ”Одесских новостей”, и убедил его напечатать отрывок из моей нескончаемой рукописи. Хейфец напечатал. Это случилось 6 октября 1901 г. После первой я принес Альталене вторую, третью — он пристроил в газете и эти статейки. Получив первый гонорар, я купил себе новые брюки... и вообще стал из оборванца писателем. Это совершенно перевернуло мою жизнь. Главное, я получил возможность часто встречаться с Владимиром Евгеньевичем (Жаботинским), бывать у него... От всей личности Владимира Евгеньевича шла какая-то духовная радиация, в нем было что-то от пушкинского Моцарта да, пожалуй, и от самого Пушкина... Он был полон любви к европейской культуре... Я, живший в неинтеллигентной среде, впервые увидел, что люди могут взволнованно говорить о ритмике, об ассонансах, о рифмоидах... Мало что он вовлек меня в литературу, он уговорил редакцию ”Одесских новостей” послать меня корреспондентом в Лондон”.

Все это написано в письме к Рахели Павловне Марголиной, в Иерусалим из Переделкина, более чем 60 лет спустя — в сентябре 1965 года. И постскрипtum:

”Пишу это в больнице — считаю своим долгом оставить для нового поколения людей хоть краткую памятку о большом человеке, который сыграл огромную роль в моей судьбе и которым я всегда восхищался”.

Они были фактически ровесниками — полтора года разницы, а восьмидесятипятилетний Чуковский с пылом юности вспоминает о Жаботин-

ском как о старшем друге. ”Я и прежде смотрел на него снизу вверх”, — признается он в другом письме. Он цитирует по памяти его стихи и эпиграммы-экспромты: например, на себя же:

Чуковский Корней
Таланту хваленого
В три раза длинней
Столба телефонного.

Или лирическое:

Жди меня, гитана,
Ловкие колена
Об утесы склона
Я изранил в кровь.
Не страшна мне рана,
Не страшна измена,
Я умру без стона
За твою любовь.

Это стихотворение про гитану Чуковский вспоминает в нескольких письмах. И всегда за этим следует: а потом он — то есть Жаботинский, — так изменился!

В 1916 году они встретились в Лондоне. Жаботинский был там по делам создания Еврейского легиона¹. ”Он живо интересовался литературой, — вспоминает Чуковский, — расспрашивал меня об А. Толстом, о Леониде Андрееве, — но чувствовалось, что его волнует другое и что общих интересов у нас нет. Что с ним было дальше, я не знал, покуда не прочитал замечательную книгу ”Story of His Life” Джозефа Б. Шехтмана” (русского перевода этой книги не существует и по сей день).

Ну, вероятно, Корней Иванович все-таки что-то слышал о Жаботинском-сионисте. Но очень вероятно, что он не знал ничего о Жаботинском — русском, или, как говорят сейчас, ”русско-

язычном” писателе. Не знал романа ”Самсон Назорей” (1926): романа ”Пятеро” (1936), не знал книги ”Слово о полку” (1928), в прошлом году переизданной в Израиле издательством ”Библиотека — Алия”².

Не знаю, как ”Самсон Назорей”, а ”Пятеро” ему бы понравились. Не идеей (сионистским идеям Жаботинского Чуковский был и остался чужд), а необыкновенно ярким, звучным, дышащим образом Одессы, Одессы их юности. Одессы перед 1905 годом. Странное совпадение: в том же 1936 году, когда вышли из печати ”Пятеро”, появился в Москве ”Белеет парус одинокий” Катаева, с той же Одессой начала века — только захваченной революцией 1905 года, в которой принимают посильное участие юные катаевские герои — интеллигентный Петя и вполне пролетарский Гаврик.

Но революционные события у Катаева — это необходимая в те годы глазурь, а настоящий предмет изображения — все то же шумное, кипящее, странное поселение на месте старинной турецкой крепости Хаджи-Бей, и тот же воздух, и то же синее вдали и зеленое, когда рядом, Черное море. Романы похожи: Катаев, без сомнения, читал Альталену.

”Пятеро” — это роман о вполне ассимилированной, благополучной, интеллигентной одесской семье Мильгром. В этой семье пятеро детей — три сына и две дочери. Все они так или иначе гибнут: один бросается спасти неведомо кого, слышав крик о помощи, — и проваливается под лед (”Божий дурак” называет его автор); другой погружается в разврат, и его ослепляют серной кислотой; третий — надежда семьи — ради карьеры становится лютеранином и, таким образом, погибает для семьи; одна дочь уходит в революцию и кончает жизнь под-

садной стукачкой в советской тюрьме; наконец, старшая, Маруся, "декадентский цветок", становится женой и матерью, но гибнет от пожара на кухне... Эти судьбы, по идее автора, должны иллюстрировать его мысль: нет будущего для ассимилированного еврейства.

Но дело не в идее, а в том, что характеры, задуманные как иллюстрация, разрушили иллюстративные рамки, стали живыми и запоминающимися, а сама Одесса оказалась не фоном, не раскрашенным сценическим задником, а своеобразной героиней повествования, — к ней обращены лирические признания Жаботинского в любви, "что вовек не проходила и не пройдет".

В этом романе действует "Я" — сам Жаботинский. Он не просто рассказчик, он принимает некоторое участие в действии: сближается то с тем, то с другим из пятерых, бывает в семье, слегка влюбляется в рыжую Марусю — старшую — и признается, что ее рыжие волосы отдал героиням других своих романов. Он себя изобразил как фигуру второстепенную — действительно, он никак не толкает действие; главные интересы его лежат вне этой семьи (он к тому времени уже стал сионистом); однако читателю очень хочется узнать еще что-нибудь о самом рассказчике...

Издательство "Библиотека — Алия" соединило в одном томе "Повесть моих дней" (в оригинале написанную на иврите) и "Слово о полку", написанное по-русски.

Надо сказать, что "Повесть моих дней" переведена блестяще: то ли содержание повести этому помогает, то ли автор думал все-таки по-русски, и получился как бы обратный перевод, — но это прекрасный русский язык, чистый, точный, с юмором и легким южным акцентом. Опять мы видим тут Одессу начала века: "Одним из трех факторов, которые наложили печать свободы

на мое детство, была Одесса". Мы знакомимся с матерью Жаботинского ("Я убежден: каждая, даже самая обычная женщина — ангел, и это правило не знает исключения"); знакомимся с молодым Альталеной и его друзьями, видим его в Италии, в Петербурге, в Берне, узнаем, что он сам думает о своем характере: "То, что прощалось другому, не прощалось мне. Даже от друга я слышал: ты обостряешь противоречия". Мы видим его на шестом конгрессе сионистов в Базеле, в 1903 году. "Довольно! Не нужно!" — кричали со скамьи оппозиции, когда слово в защиту Герцля³ взял никому не известный юноша, доказывавший, что нельзя смешивать этику и тактику. На шум прибежал сам Герцль, спросил у д-ра Вейцмана⁴: "Что он говорит?" — "Вздор!" — решительно ответил Вейцман. "Тогда Герцль подошел к кафедре сзади, — пишет Жаботинский, — и промолвил: "Ваше время истекло". Это были первые и последние слова, которые я удостоился услышать из его уст. Я сошел, не закончив своей защитительной речи, которую отверг человек, на чью защиту я встал".

Эту книгу все время хочется цитировать. Но мы тут остановимся и скажем только, что кончается она 1914 годом.

"Слово о полку" имеет подзаголовок: "История Еврейского легиона по воспоминаниям его инициатора".

И — опять хочется цитировать: пересказывать Жаботинского обидно. Ну вот, например: когда он в 1909 году был в Турции корреспондентом, "а в Высокой Порте пановали младотурки, сложилось у меня незыблемое убеждение: где правит турок, там ни солнцу не светить, ни траве не расти". "Я держусь очень высокого мнения о газетном ремесле: добросовестный корреспондент знает о стране, откуда пишет, гораздо больше

любого посла; по моим наблюдениям — нередко и больше любого местного профессора. Но в данном случае несложная правда о Турции была известна не только профессорам, а даже послам". Правда эта была в том, что Турцию ждет неминуемое поражение — и Жаботинский с той минуты, как Турция вступила в войну, стал "за войну (Антанты — Р. З.) до победного конца", ибо "вне распада Оттоманской империи нет надежды на восстановление Палестины".

Почти с самого начала войны Жаботинский в качестве корреспондента газеты "Русские ведомости" "скитался по разным углам невеселого тогдашнего света". И когда идея о том, что надо создать Еврейский легион для освобождения Палестины, овладела им (или хотя бы представилась как возможная реальность), — он начал борьбу, в результате которой легион в августе 1917 года был создан.

Книга очень густо населена. Кого только мы там не встречаем! И Макса Нордау, и русского консула Петрова, и будущего наркома иностранных дел Чичерина, и национального героя Израиля, полного георгиевского кавалера за Порт-Артур — Иосефа Трумпельдора, и русского писателя Амфитеатрова, и французского публициста Гюстава Эрве; есть и Ротшильды, отец и сын, и историк Сеньобос, и дипломат К. Д. Набоков, и Алленби, и Бальфур, и Филби (отец шпиона), солдаты и лорды, министры и портные... И читается это все как авантюрный роман, и дает к тому же немалую информацию: как это началось, откуда что пошло, куда идет...

Конца — создания еврейского государства (где он завещал себя похоронить, когда оно будет создано), — Жаботинский не увидел: он умер от инфаркта летом сорокового года, опять, как в 1916 году, трудясь над созданием Еврейского

легиона — нового, для Второй мировой войны.

У него было много врагов. Теперь, когда прошло около пятидесяти лет со дня его смерти и прах его уже 22 года покоится в Иерусалиме, врагов по разным причинам стало меньше. Теперь число его друзей растет и в России, куда какими-то неисповедимыми путями пробиваются его статьи и книги. И нередко приходится слышать от тех немногих, которые приехали в последнее время:

— Какой писатель! Ведь это он мне объяснил...

Какой писатель! Литература для него не была делом кровавого пота — таким делом для него был сионизм. Литература была его "хобби". Но к ней он вновь и вновь возвращался до самого конца жизни, потому что никогда не переставал быть писателем. Фраза его — легкая и блестящая, а мысль, облеченная в эту нарядную фразу, полновесна и обеспечена всем золотым запасом личного опыта! И какого опыта! Поэт и воин, журналист и политический мыслитель, романист и организатор, космополит и сионист... И так или иначе все эти грани удивительной личности, масштаба деятелей и художников итальянского Возрождения, отразились в его литературном творчестве.

Какой писатель!..

НАШИ ДОРОГИ ДОМОЙ

Вечный вопрос: за что?

”Что наших девушек отличен волос,
Не те глаза, и выговор не тот”...

Тринадцать лет я здесь. И за эти тринадцать лет не было дня — и это буквально: не было дня — чтобы этот вопрос не вставал. В печатном, устном, трансляционном, мысленном, наконец, виде. Вопрос был всегда один (вариант — почему?), а ответов множество. Я и сама пыталась дать ответ — конечно, в самые первые годы, глотнув свободы и начитавшись, и наслушавшись.

Когда-то, лет двадцать пять назад, я написала рассказ о детском саде. Мы жили в то лето в Зеленогорске, и детский сад был отделен от нас низким забором. Целое лето мы наблюдали его жизнь ”под бубен”. Бубен был в руках воспитательницы — по бубну собирались, укладывались спать, делали зарядку... Некоторых детей мы знали по именам. Одного звали Аркаша — в рассказе он Алеша. Я не удивлюсь, если увижу его здесь. Мальчик, родившийся в конце другого моего рассказа, нареченный Федором в честь Достоевского, уже здесь с женой и сыном. Учит иврит.

И вот, сегодня напротив наших окон, но на нижнем уровне (дом наш на холме, и перед

ним, до самой долины, холмы пониже) — уже угадали, пока читали объяснение? Ну, конечно, детский сад. Не дача, снятая на лето, — стационарный детский сад, круглогодичный.

Дети здесь идут в школу в шесть лет. Так что этот "контингент" помоложе. Мальчики в кипах — но не все. Значит, садик не строго религиозный. Девочки — ну, они и есть девочки. Блондинок мало, и они, по-видимому, пользуются успехом.

(Кстати, за один блок отсюда — за один квартал, сказала бы я раньше, еще один детский сад; в нем преобладают блондины обоего пола, северноевропейского типа. Чернокудрявых меньше — и, кажется, они там заводилы.)

Сейчас зима, и окно у меня закрыто. Таким образом жизнь детского сада для меня немое кино. Только еле слышный, какой-то цветочный, звон бубна проникает ко мне сквозь стекло. Чуть слышу бубен — бросаю работу и смотрю. Из широкого проема дверей на выстланную плитам площадку высыпает — вылетает — выпархивает стайка, нет, лучше сказать — рой. И начинается броуновское движение — теперь я точно знаю, что это такое. Это и есть жизнь. Совершенно бессмысленная, когда смотришь на нее сверху, и строго целеустремленная в каждом индивидуальном случае. Где уж мне сверху рассмотреть каждую индивидуальность. Они бегут в самых разных направлениях. Только через несколько минут видишь, что есть одна девочка, которая тихо баюкает огромного мишку; будь тот мишка живой, легко бы мог баюкать ее. И вот еще одна — она захватила тряпичных клоунов — наверное, всех, сколько их было, — и мечет их куда попало — в стену, в заинтересовавшихся мальчиков, в сосну, которой чуть больше лет, чем ей, но уже такую высокую!

Опять звенит бубен, броуновское движение организуется — они облепляют учительницу. И начинается гимнастика, вольные движения. Учительница, не выпуская бубна, поднимает руки, опускает, клонится набок — и дети более или менее удачно ей подражают. Потом она подпрыгивает, и все прыгают, прыгают... Девочки прыгают лучше, по-моему. А вот к косяку прижался мальчик — он пробовал прыгать, у него не получилось, он остановился. Потом прыгают с ноги на ногу — опять он пробует, опять не получается. И я уже начинаю его жалеть, а потом мне приходит в голову — может, он будущий Кант, или Юра Фриндлендер. Они наверняка и в детстве не умели прыгать.

Написала это — и опять: бубен зазвенел. Выглянула. Детей нету, ушли ланчевать, как мы тут говорим.

Смотреть на них никогда не надоедает, и писать о них тоже. Веселые, здоровые, хорошо, разнообразно, легко одетые; да и кто же станет кутаться в феврале? 10 — 12 градусов тепла.

(Валенки с галошами, теплые штаны, шуба, шапка, варежки, шарф... Ну-ка побегай, пого-няйся за приятелями.)

И они не агрессивные. Драки нечасты, по-моему. И, во всяком случае, — ни разу я не видела, чтобы дети играли в войну. Это в агрессивном Израиле. Бросание камешков видела (и тут не только телевизор, к сожалению), видела один раз игру — перебегание дороги под носом у несущейся машины (вдруг грянула эта жуткая мода среди подростков и заразила младших школьников). Но в войну — нет, не играют, не видела я таких игр. Еще когда приехала, удивлялась. И недавно слышала от новых олим: подумать только! Тут дети не играют в войну!!

В общем, так и тянет сказать: свободные дети на своей земле.

Но ведь и мы. Мы тоже были свободные дети, и тоже жили на своей земле. По крайней мере, у нас никаких сомнений не возникало. Долго-долго не возникало. До самой войны. И даже — во время войны. Уходили с большевиками, забывая про все несогласия, про все притеснения, про полуголодные пайки и переполненные коммуналки, про разгром нэпа и "золотуху" (изъятие ценностей), про ночные бессонницы и страхи. У страхов не менялось значение, хотя то и дело менялось название: чека, гепеу, энкавэде, энкагебэ... Еще и после войны менялось. Как на лагерной перекличке: Иванов — он же Петров — он же Терентьев... Словом — он же. Оно же.

Но и про это забывали — и даже не без гордости. Во всяком случае мы, которые только начинали жить, которым и забывать еще было нечего, — мы гордились своими родителями, которые, наконец-то, на двадцать четвертом году революции, полностью признали советскую власть, вплоть до отождествления с ней. Одесситка, за эти годы трижды по несколько месяцев отстоявшая в тюремных очередях — к окошечку на передачу, за справкой, на свиданье со следователем, — на вопрос: куда же вы поедете, если что? — решительно, давно обдуманно, ответила сразу: куда пойдут большевики. И дочь, спрашивавшая ее, отметила: она сказала — большевики!!! И пахло от этого ответа бытом гражданской войны.

Первые уроки новой действительности еще ощущались как случайные. Как "пережитки", если хотите. К сорок восьмому году все стало ясно. Наступил государственный антисемитизм, и как мы ни старались, пришлось узнать его в лицо.

А старались. Не только мы, поколение более или менее ровесников Октября, но и старше.

Во всяком случае, Ахилл Левинтон, человек поразительно ясного мышления, рассказывал про одного профессора:

— Он мне говорит: какой я еврей! Языка не знаю, воспитан на Пушкине.

— Я ему говорю: а вы так и напишите в анкете — еврей, воспитанный на Пушкине.

Мы смеялись. Потом думали, а и в самом деле... Ведь мы воспитаны на Пушкине. И даже если... Так что же делать нам?

Люди, которые получали в это время внезапные письма из Палестины от родственников, холодели от ужаса. Этого родственника — этих родственников — они в анкетах не показывали, да и сами о них почти забыли. Связь с заграницей!!! Шпионаж! Измена Родине! Они еще, безумцы, пишут: "скоро, надеемся, вы сюда приедете!"

Это — наши отцы. Мы таких писем не получали. На нашей памяти никто не уезжал. Разве что на Крайний Север — не по своей воле. Если родина — или Родина — то место, где ты родился, то это и есть наша родина, куда же от нее? Мы все-таки уже успели кое-что для нее сделать, как мы это понимали; куда деваться? Как оправдываться?

Страшные картины снились: маленький мальчик, спрятавшийся в лесу, видит, как расстреливают всех евреев его местечка, и слышит, как раввин выкрикивает проклятия Богу.

Этого мальчика я знала, он об этом рассказывал. Он весело говорил: со мной они ничего не могут сделать, я не писатель какой-нибудь, я — разметчик!

"Они" — это были не немцы. Это были наши. Наши — то есть кто? Мы?

Анекдот тридцать седьмого года (в пушкинском смысле, конечно):

Стенич¹ (зловеще): Ну, теперь они нам покажут!

Собеседник (бдительно): Кто это — они?

Стенич (радостно): Мы... Мы нам покажем!

...Я читала воспоминания Заболоцкого об общей камере в Большом доме², помню страшного, опустившегося и разложившегося Стенича. И все-таки, пусть не только этим он запомнится. Потому что был тот человек ("русский дэнди", как назвал его Блок в своей статье) человеком замечательным и смешливым, и его смех, усмешка его многим помогали жить. Сломался он страшно.

Но, в пояснение, еще один анекдот, из после-сталинских 50-х годов:

Пушкинист Илья Фейнберг сказал Ираклию Андронникову, который чувствовал себя перед ним виноватым, — как-то не так повел себя в эпоху борьбы с космополитизмом:

— Я на тебя не сержусь. Это естественно. Под огромным давлением материалы, говорят, ведут себя не так, как им свойственно: бумага ведет себя, как дерево, а металл — как бумага. Закон физики.

Кстати, кто помнит, с чего открылась — точнее, приоткрылась — "борьба с космополитизмом"?

С раскрытия псевдонимов, уважаемые дамы и господа. Эпитет "безродный" прилип к космополитизму позднее. Как дополнительное уточнение, чтобы никто не сомневался.

Дела давно минувших дней.

А вчера прочла:

"Соккрытие еврейских имен под русскими псевдонимами повелось в России не со вчерашнего дня. Почему и зачем? Пусть на такой вопрос ответят объективные историки. Как бы то ни было, но с этим делом надо кончать — опять же в

интересах обеих сторон. Ну, право же, для образованной и богатой еврейской общины неловко прятать под личиной "русских" такие убожества соцреализма, как "Алексин", "Ананьев", "Полевой", "Рождественский", специалист по Блоку "Орлов" (Шапиро), который в изданиях дневников поэта сделал десятки соответствующих выбросок, и т. д., и т. п."

Немножко пропущу. Дальше: "... Да, есть право любого печатающегося человека избрать любую подпись, но ведь и читателям тоже небезразлично, выступает ли автор под своим именем или по каким-либо причинам скрыл его. (...) Литературные клички — порождение далекого прошлого, когда сочинительство было делом узкого круга, а "средства массовой информации" еще не сложились. Да и слишком уж много накопилось в истории случаев, когда с помощью фальшивых личин дурачили людей. Вот и следовало бы в советских оглавлениях оговариваться: "Алексин" (псевдоним), "Ананьев" (псевдоним), "Арбатов" (псевдоним). И так далее до конца алфавита"³.

Уфффф, как писалось в старину.

Спорить с этим автором нет смысла, так же как и с предполагаемыми читателями, которым "тоже небезразлично". В каком, собственно, смысле — небезразлично? И как эти, такие небезразличные, читатели относились к литературным кличкам не столь уж давнего времени — Ахматова, Белый, Воронский, Горький. И так далее, до конца алфавита? И как быть с Орловым, специалистом по Блоку, если Шапиро — фамилия его матери, а он законный сын своего отца? И как быть... Нет, тут опять надо цитировать:

"К сожалению, из еврейских кругов и поныне поставляются основные кадры "певцов Октября", как то повелось еще со времени Безымен-

ского и Багрицкого". И дальше перечисляются фамилии некоторых авторов серии "Пламенные революционеры" (на этот раз не по алфавиту, а в разбивку): "...там мелькают имена Аксенова, Гладилина, Корнилова, Войновича, М. Поповского, И. Ефимова, Р. Орловой — супруги Л. Копелева".

И несколько неожиданный вывод: "Видимо, еврейская община должна обратить внимание на это примечательное обстоятельство".

По-моему, в этом списке, в основном, те, кого автор в другом месте называет "полтинниками", или "полукровками", и чьей судьбой он был не на шутку озабочен на предыдущей странице. Но тут он стал к ним совсем строг — строже "мамы Елены"⁴ — румынской королевы. Она не позволяла преследовать "полукровок".

Скучно на этом свете, господа! Хотя я, читая все это, помолодела на сорок лет. Совсем, ну совсем сорок девятый год. Хотя — нет; "мысли" те же, но тогда, до гласности, эти мысли выражались прикровеннее, и потому интереснее. Для нашего неискушенного поколения они имели интерес новизны.

Сорок лет прошло. Целых сорок лет. Всего сорок лет. Как считать.

Где это началось? И как?

У всех еще в памяти Катастрофа — хотя не все теперь ее признают. Так вот, с чего началась Катастрофа? Ведь не только в Германии она начиналась. Не только в Германии, не только в Баварии, а и в странах-победительницах. В странах-союзниках — так они назывались в нашем, двадцатом столетии. словно каким-то тлетворным ветром подуло, и литература уловила влияние. Я не о большой литературе говорю — не о Селине, не о Жиде (что, все-таки, за фамилия странная!), не о Монтерлане. Я про Сименона,

моего любимого автора. И про Агату Кристи. И про Хемингуэя, который тогда еще к "большой литературе" не причислялся.

И все это — на рубеже двадцатых-тридцатых годов. До Гитлера. То есть уже был Гитлер, и Рем⁵, и мюнхенские пивные гудели — но кто же к этому относился серьезно?

Не могу сказать, что называю этих авторов наудачу — нет, я давно когда-то удивилась, когда прочла у Агаты Кристи в "Тайне голубого поезда" (1928) на первой же странице:

"Маленький человечек с крысиной мордочкой. Казалось бы, такой человек, никогда, ни в какой сфере, не мог бы достигнуть выдающегося положения. Но не спешите делать выводы... Потому что этот человек, такой ничтожный и неприметный, играл важную роль в судьбах мира. В империи, где правят крысы, он был королем".

В следующем абзаце — разгадка: "В форме его тонкого носа слегка проглядывала крючковатость. Его отцом был польский еврей, мелкий портняжка. Он был бы доволен бизнесом, который привел его сына за границу".

Конечно же, этот бизнес — преступление. Целый ряд преступлений. И если бы не Пуаро...

У Сименона есть книжка "Сен-Фольенский повешенный". Из серии Мегрэ, тридцать первого года издания. Одна из очень хорошо написанных его книжек. И — одна-единственная, где Мегрэ отпускает на волю преступников, правда, совершивших свое преступление десять лет назад, — вот-вот уже их нельзя будет преследовать по суду "за давностью лет". И они раскаиваются. И у некоторых есть дети. И один из них покончил с собой, повесился у ворот Сен-Фольенской церкви. И они тогда были пьяны или под действием наркотиков. И они были студентами, и старый вопрос, можно ли убить мандарина, чтобы обла-

годетельствовать человечество, упростился: могу ли я убить? В общем, убили. Шестеро убили одного.

Этот один был сын разбогатевшего (начавшего с нуля) коммерсанта, "который приехал в Льеж без гроша". Отец покупал всех и вся, всех презирая, — и сын тоже. "Он презирал нас! Он не пил. Он нас ненавидел, и мы его ненавидели. К тому же он был скуп. Цинично скуп".

"Он был чуждым элементом, враждебным элементом, который встречается в любом человеческом сборище... Мы терпели его. Но Кляйн, когда был пьян, нападал на него в открытую и вываливал все, что у него накопилось на сердце. А тот слушал, слегка бледнея, презрительно оттопырив нижнюю губу".

Кляйн и нанес первый удар ножом. А тот, обливаясь кровью, говорил: свиньи! — и не умирал. Его прикончили.

Думаю, вы догадались, что "чуждый, враждебный элемент" был евреем? Его убийцы — голландец, бельгиец, немец, француз... Как в анекдоте про дружбу народов: "все берутся за руки и идут бить" — кого? Армянина? Месхетинца? Еврея?

За что? За то, что — чуждый элемент.

Позвольте, но ведь это слово из нашего детства. Только семантика другая. Чуждый элемент — это нэпман, частник, служитель культа, белый офицер. И их дети. "Дети трудящихся берутся за руки и все вместе идут бить" — поповского сына. Или дразнить девятилетнюю нэпманшу, чей отец уже сослан в Котлас.

Те же годы — тридцатые. Та же страсть людоедства.

Зачем не такой?

Но, пожалуй, лучше всего это получилось у Хемингуэя. Которого так страстно полюбили

в России, вторично открыв его для себя, нынешние пятидесятилетние. Которого мы открыли в середине тридцатых — по-моему, после "Снегов Килиманджаро", впервые переведенных. О котором профессор Гуковский сказал, что Олдингтон (им перед тем увлекались) недостоин развязать ремень хемингуэвской сандали. Хемингуэй, который сформулировал "закон айсберга": в художественном произведении, кроме того, что напечатано черным по белому, в тексте, еще семь восьмых должно не говориться, а оставаться в подтексте. Женщинам тогда делали комплимент: "В вас столько подтекста!" Кстати, "закон айсберга" помогает писателю обходиться запасом слов, не намного превышающим словарь людоедки Элочки.

Так вот, в романе "Фиеста" (1926) Хемингуэй разделался с Коном.

(Нечаянно зачиталась, когда открыла книгу. И правда, хорошо написано. А может, я стала лучше понимать язык, выстроенный на айсберге. Уже привыкла за каких-нибудь пятьдесят лет.) Кон — американский еврей, по отцу принадлежит "к одному из самых богатых еврейских семейств в Нью-Йорке, а со стороны матери — к одному из самых старинных. Он богат. Он удачлив — пристроил свой роман в довольно крупное издательство. После этого он уже "не был ни таким чистосердечным, ни таким славным". Когда он увидел Брет (кто же не помнит Брет?), — даем слово автору, т. е. герою: "Так, вероятно, смотрел его соотечественник, когда увидел землю обетованную". Через несколько десятков страниц выясняется, что Кон ведет себя не так, как все, — его тошнит от боя быков, он слишком серьезно влюбился, он всем надоел и всем мешает, и когда ему говорят: "Почему вы не чувствуете, что вы лишний? Уберите свою скорбную ев-

рейскую физиономию”, — он готов драться, потому что ощущает себя рыцарем прекрасной дамы. А дама говорит: ”Ненавижу за то, что он так страдает”. Потом он, наконец, сделал то, что задним числом оправдало всеобщую ненависть: избил тореадора. То есть поднял руку на святое искусство. Он, богач, избил... (А написано, между тем, хорошо. И переведено прекрасно — прекрасная переводчица покойная В. Топер.)

Теперь я уже не думаю, как десять лет назад, что вся причина успеха ”Фиесты” в оправдании антисемитизма. Не вся. Только доля. Львиная.

Но вот что удивительно.

Ничего этого — ни ”еврейского упрямства” Кона, ни его ”скорбной еврейской физиономии”, ни даже радостного облегчения, наступившего после его изгнания из алкоголического возвышенного автором круга, — я не заметила тогда, в середине тридцатых. И не только я, но и мои близкие, мои друзья, знакомые, сокурсники, наконец. Я проверяла у немногих оставшихся. Нет, ничего не заметили. Хотя все это там было. Признаться, мне приходило в голову: может, при переводе (тогдашнем) это было выброшено, или смягчено? Нет, не было — ни выброшено, ни смягчено.

И я думаю — это свидетельство того, что мы были свободны. Свободны от подозрительности. Мы не были повязаны с антисемитизмом, как человек со своей тенью, мы не подозревали, что она есть, что она неотторжима, эта тень, которая при свете дня укорачивается. Для нас это было на одной линии с крестовыми походами и нашествием Наполеона: на линии прошлого. Того, что было до нас.

Не только до нас — родившихся в конце первого десятилетия двадцатого века. До нас — означало: до нашей эры.

Потому что если во что мы — говорю о своем поколении — поверили, так это в новую эру. Не надо думать, что она нам всем нравилась. Может, кому и нравилась — по литературе нашей получается, что да. Люди поженились летом семнадцатого года. Их дети спрашивали: как вы могли! Семнадцатый год! В 17-м году! Ведь революция, террор, ужас! А они говорили: было столько надежд! И тихо улыбались несбывшимся надеждам.

Революция всегда начинается так: "... с улыбкой розовой, как голубого дня за рощей первое дыхание"... Потом розовый цвет багровеет, становится знаменем, и уже скачет страшный всадник без головы по городам и весям, и царь-голод шествует за ним, и расстреливают в подвалах и в темницах, и...

Однако кое-какие надежды сбылись. Мы перебирали в уме "список благодеяний": всеобщая грамотность, бесплатная медицина и — равенство для евреев.

Были, всегда были для тех же евреев и всевозможные неравенства, до самого 1936 года, и сразу после него. Как и для всех. Главное — неравенство социального происхождения. До 1936 г. оно означало принадлежность отцов к буржуазным и мелко-буржуазным группам. Сын Биндера, например, державшего мелкую лавочку на углу нашей улицы, и думать не смел о поступлении в высшее учебное заведение. Как и сын Белова, купца первой гильдии, почему-то не высланного, но до нитки обобранного. Дети раввинов сиротели одновременно с детьми священников. А после тридцать шестого года все эти дети, всех национальностей — совершеннейший интернационал, — "не отвечавшие за своих отцов", одновременно исключались из партии, из комсомола, из института и уж не знаю, откуда

еще. И в этом было равенство. Равенство перед беззаконием.

Я не говорю уже о принадлежности к другим эксплуататорским классам — к дворянству, например. Дворян-евреев было мало. Но среди разношерстной интеллигенции их уже и тогда было много — и дети их должны были искупать свое смутное классовое происхождение, "провариваясь в пролетарском котле", т. е. — работая на заводе несколько лет. После чего получали право писать в анкетах "рабочий" и могли поступать, куда им хотелось. И тут тоже было равенство — перед законом, который тогда даже казался справедливым: о привилегиях для тех, кто от века был их лишен. Сейчас этот закон — или обычай, если хотите, — широко применяется в Соединенных Штатах, с тем же сомнительным успехом. Потому что равенство — это не перекачка привилегий из одной бочки в другую. Эта перекачка ничего не порождает, кроме злобы с обеих сторон.

Как бы то ни было, мы в ту пору от унижительного сознания национальной неполноценности были свободны. И совершенно не задумывались об ассимиляции — нужна она, не нужна. О ней думали, ее приняли наши родители, а мы... Для нас и вопрос этот не стоял. Язык наших мыслей и чувств был русский.

Теперь я понимаю, что говоря "мы", я говорю о сравнительно небольшой части юной ассимилированной интеллигенции. К тридцать шестому году исход из черты оседлости практически закончился — Москва была забита, как желудок обжоры, до заворота кишок. Ленинград, несколько раз извергавший своих старожилов, заполнялся беглецами из пригородов. Только студенты еще продолжали прибывать — с юго-запада страны, но и их становилось все меньше — на

юго-западе появились собственные вузы и университеты. Студенты жили в общежитиях, получали временную прописку, старались превратить ее в постоянную посредством брака. Мужчинам это удавалось чаще, чем девушкам, хотя вообще-то провинциалы в этих городах не котиrowались.

Но были в черте оседлости, на Украине и в Белоруссии, не только Киев, Одесса и Минск, где уже перед войной сама собой — без приказа сверху! — тихо и не слишком быстро шла русификация. Были местечки — городки, *штетлы*, о которых с такой ностальгической нежностью вспоминают их прежние обитатели. Так вот, в этих местечках существовали не только еврейские школы, но даже и высшие учебные заведения на идише. И там вырастали люди, не знавшие русского языка, говорившие только на идише... Я узнала об этом недавно, и меня это поразило. Я думала — может, это в "освобожденных" в 1939 году районах так было? Нет, не только там, но и в коренных советских. Рассказываю об этом для полноты картины. В ту, предвоенную, пору мы о таких еврейских заповедниках не слышали. Если бы услышали — у нас бы не возникло никакого восхищения. Мы были... А собственно говоря, кем мы были? Евреями, воспитанными на Пушкине? Евреями по названию — без религии, без обрядов, без языка? Евреями, принявшими культуру за религию? Усвоившими культуру вместо религии? Словом, как у поэта Пригова: "Пушкин, Пушкин, помоги!"

В нашем поколении много смешанных браков; между родителями и детьми, бывало, происходили драмы по этому поводу. Мы, ровесники, возмущались, но больше дивились: Господи, такое — в двадцатом веке!

Пришла война, на которой мои еврейские ровесники, да и те, кто был на несколько лет

моложе — вскоре призвали и 23-й, и 24-й год рождения, — служили не "маркитантами". Они шли в ополчение или в пехоту. Офицеров среди них было немного. Четыре моих однокурсника из тех, что были переводчиками в Испании, погибли в ополчении — Кревер, Франкфурт, Громов, Соловейчик. Под Ленинградом. Там они и родились, в Ленинграде. А родители были из черты оседлости. Судя по фамилиям, трое из них были евреи — а может, и все четверо. Рядовые необученные.

Слово "маркитанты" я употребила не случайно. Я слышала стишки, которые так называются, и увидела их творца. По телевидению, московскому, разумеется. Красивый такой мужчина. Его любовно показывали: то в профиль, то в фас. Крупным планом. Он читал с выражением и с выраженьями лица: щурясь лукаво, гневно сверкая глазами, а иногда слегка подмигивая зрителю: мол, мы-то с вами понимаем.

Понимаем, конечно. Сюжет стихов мне показался очень даже интересным. О стихах высказываться не посмею: не специалист. А сюжет таков: остановились две враждебные армии друг против друга, и каждая послала на разведку своего маркитанта. "А они с легендарных времен" (это лучшая, запомнившаяся строчка) знали друг друга, обнялись, расцеловались, и каждый донес о слабых местах противника и боевом расположении. Обе армии погибли, перебив друг друга, и только маркитанты выжили.

Ну, это сейчас, когда на дворе у нас — т. е. у них — гласность, и они там, да и мы здесь, уже ко всему привыкли, и почти не удивляемся. Но в 1948-м году все это излагалось не в звучных стихах, а в прозе. В пылкой публицистической прозе. Была тогда такая газета "Литература и жизнь", еще ее называли "Лижи". Звучало, как

предписание, которое она выполняла неукоснительно, но вместе с тем она и задавала тон. Это было время гласности особого рода: для "Лижи". Нет, публицистика той поры не подмигивала: она махала оглоблей, как Вася Буслаев. И, опуская оглоблю на намеченную голову, заботливо сообщала публике, что известное имя — никакое не имя, а псевдоним. Настоящее, неприятно звучащее имя тут же помещалось (в скобках).

Впрочем, я об этом уже писала, да и не я одна. Но тут только хочу сказать, что мы — так называемые ровесники Октября — ну, почти ровесники — к этой "антикосмополитической" кампании оказались неподготовлены. Наши отцы — другое дело. Вероятно, они могли бы нас успокоить: дескать, все это уже бывало. Всякое бывало. Как в пьесе Гуцкова "Уриэль Акоста" старик всех успокаивает. Но наших стариков не было рядом — они были повыбиты временем. И мы должны были все увидеть и понять сами, как в первый раз.

Нелегко это было. Мы даже исторически были неподготовлены. Что мы знали? Кишиневский погром и дело Дрейфуса — глубже в века как-то не спускались. Даже "Иудейскую войну" Фейхтвангера я, например, прочла в тюрьме — раньше я ее видела и она показалась мне слишком толстой и малоинтересной. Кстати, там же я прочла драму Гюго "Торквемада" (а может быть, у нее и другое название, но сюжет тот). Вот такие удивительные случайности — или неслучайности? — происходят, т. е. происходили — во внутренней тюрьме. Помню высокую женщину-библиотекаршу, что приносила мне книги, — через окошко, конечно, я ее особенно рассмотреть не могла. Кто выбрал для меня томик Гюго? Неужели она? Это была маленькая книжка в пере-

плете, размером с осьмушку листа, из какого-то собрания сочинений, с маленькой круглой, отчетливой печатью "Библиотека Петербургских тюремных замков. Петропавловская крепость". И в середине печати — Петропавловский шпиль.

Так вот, к моменту ареста я имела очень нечеткое представление о том, как из Испании были изгнаны евреи и когда именно это произошло. Про инквизицию я, правда, знала — и драму Лермонтова "Испанцы" читала, но вот и все. И когда на выпускном экзамене по испанской филологии меня спросили, в каком году произошло открытие Америки, и я ответила, доцент Будагов, хитро притворив веки, задал дополнительный вопрос:

— А что еще произошло в этом году?

Я, гордясь своей образованностью, ответила немедленно:

— Падение Гренады!

Я увидела, что ответила не то, чего он ждал, и только в Израиле — только в Израиле! — поняла, о чем, собственно, он спрашивал. Но и другие экзаменаторы не знали и были удовлетворены Гренадой.

Я вспомнила Будагова в Альгамбре, в садах Альгамбры, точнее. Пятьсот лет их не уничтожают, вот как въелись они в почву и душу народа. А Будагов, по слухам, уехал в Москву, сделал карьеру и прослыл антисемитом. Вот, не знали мы тогда. А как говорит Корейко, надо было знать. Пришла пора спросить себя — а кто же мы такие?

И тут стало на нас нападать — толчками, перебежками, захватывая в душе пядь за пядью — национальное самосознание.

То есть оно не то, чтобы не существовало у нас раньше. Существовало, вернее — сосуществовало с известной долей национальной гордо-

сти. То есть хотелось, конечно, быть "как все", но без страстей по этому поводу. На еврейскую Пасху ели мацу, на русскую — куличи и крашенные яйца. Заходили в церкви — там было красиво. Нечаянно ударилась в ностальгию, а надо сделать скачок из двадцатых годов в сороковые. Так вот, начиналось прозрение. В нашем случае, не столь уж редком, оно привело в тюрьму и в лагерь. Я не считаю эти годы потерянными — они здорово отмыли мне душу и научили некоему смирению и умению слушать.

Смерть Сталина, оттепель, двадцатый съезд... Вокруг шли восторги и слезы — у нас шевелилось в душе: почему он говорит только о коммунистах, и почему ни слова о врачах? Потом кто-то из иностранцев — то ли де Голль, то ли Эйзенхауэр — сказал о хрущевском зверином — нет, какое-то другое слово, зоологическом, вроде, — антисемитизме. Новым для нас было то, что это сказано громко, чтобы слышали два континента. Как-то в те годы я спросила у Виктора Некрасова: — А что, Х. — у него антисемитизм по приказу или...

— Ну, что вы, — весело сказал Виктор Платонович. — Здоровый русский антисемитизм! — Мы посмеялись одинаковым смехом — ничуть не горьким. Это уже было "привычное дело".

Оттепель набирала силу, и евреи, из тех, кто постарше и лучше устроился, стали испытывать смутную тревогу. Книга Дудинцева грянула в это время — восьмой номер "Нового мира", дотвардовского "Нового мира", еще симоновского. В том номере был и Гранин со смелым рассказом "Собственное мнение", и кто-то еще. Симонов "Новый мир" потерял и на Дудинцеве, как с грустью говорили его сотрудники, "на Дудинцеве — сломался". Так вот, во времена "дудинцевского взрыва" Дымшиц — может, кто-

нибудь его еще помнит? — литературовед, германист, коммунист, человек очень неглупый, про которого Катя З. говорила "панкач!" — предупреждал молодого еврея, готового к борьбе за либерализацию или демократизацию, словом — к борьбе:

— Не раскачивайте стихию. Главное — не раскачивайте. Не надо раскачивать!

Что свидетельствовало о его непрогрессивности, конечно. Еще и потому, что напоминало нам о том, кто мы.

Он был человек с биографией. Перед войной наделала шуму его защита докторской диссертации. Провалили диссертацию — редчайший случай. Он звучным голосом цитировал: "и будет с кафедры лобастый идиот...". Лобастые члены

а я ему доктора?! Дымшиц был из партийно-начальственных евреев, твердых в прогрессивных взглядах (в тридцатые годы взгляды на взгляды и на прогрессивность были не те, что, скажем, в шестидесятые). Их было четверо в Пушкинском доме, таких твердых и партийно-прогрессивных: он, Мейлах, Плоткин и Цехновицер. Старые ученые — еще оставались такие, с дореволюционного времени, — придумали поговорку: из всех этих Цехновицеров я предпочитаю... Дальше назывался один из трех оставшихся, в зависимости от вкуса и личных отношений.

Так вот, Ученый совет во главе с Гуковским провалил диссертацию, за что у партсекретаря Жени Наумова начались кое-какие неприятности. Гуковский — тот укрылся от них где-то за пределами Ленинградской области. А тут как раз война грянула, и с этим делом обошлось. Но ту защиту еще и в войну вспоминали, даже на фронте! Погиб под Таллинном Цехновицер, в самом начале войны. Мейлах, негодный к стро-

евой, написал в тылу бестселлер про Ленина и русскую литературу. Плоткин возглавил Пушкинский дом и вывез его в Саратов.

Дымшиц ушел на фронт. После войны, до тех пор, пока евреев еще держали в советской администрации в Германии, он ведал немецкой культурой — и надо сказать, к его чести, что память о себе он там оставил хорошую. Он спас от расправы Ганса Фалладу и старого классика — Гауптмана; Анна Зегерс, Буш, Брехт были с ним дружны — и не за пайки. Хотя он и оставался, как говорится, принципиальным.

В 56-м году он принципиально не мог понять, как можно было рассказать Анне Зегерс о том, что такая-то ленинградка, с которой она познакомилась, сидела при Сталине; принципиально был против печатания рассказов, где говорилось о лагерях. "Не раскачивайте, главное — не раскачивайте, нельзя раскачивать". Тогда-то, а может, и раньше, — у нее был зоркий глаз и острый язык, — Катя З. и сделала заключение: "панкач".

В конце концов я должна объяснить, что такое "панкач", потому что вы наверняка не знаете.

Продавался в начале 50-х годов в магазинах лук, слегка подгнивший. Стоил он чуть дешевле, к тому же добросовестная администрация чистосердечно признавалась, что лук этот не первосортный. Так и было написано на бирке: лук пан.кач. То есть — "пониженного качества".

Вот так Дымшиц, который в Берлине снискал себе, мало сказать, добрую славу ("Вы не представляете, чем он для нас был", — говорила жена Брехта, Елена Вайгель), вернувшись в родной Ленинград, стал "панкач". И дальше — больше; он непоколебимо связал себя с теми, кто сформулировал тогда партийную позицию: "Не надо сыпать соль на раны". Что значило: "Кто старое помянет, тому глаз вон".

Конечно, Дымшиц знал, что такое Брехт. Конечно, он привез с собой в Германию русский пиетет перед литературой, перед писателями, необычный для Запада. К тому же он совершенно свободно владел немецким языком, что тоже было необычно для чинов советской администрации. Но ведь русским он владел тоже, да и русскую — советскую литературу знал неплохо, понимал...

Думаю, его испугала Венгрия. Это не значит, что, не будь Венгрии, он стал бы профессиональным диссидентом, но он стал бы лавировать, искать общих точек. А тут у него появилась одна песня. Вот эта самая: "не надо раскачивать!"

К слову: в прошлом году еврей-профессор, мальчиком увезенный из Венгрии в ту знаменитую осень 1956 года, говорил мне:

— Вы не знаете, что это было. Вы никогда не видели, как людей выбрасывают из окон! Вы не можете знать!

Может быть, Дымшиц слышал эти рассказы тогда же. И потому стал чем-то вроде Кассандры для интеллигентных ленинградских евреев.

Все это, конечно, только предположения. Но факт тот, что с ним, с Дымшицем, в те годы перестали здороваться знакомые и на нем впервые за долгие годы была опробована новая сила — общественное мнение.

А он боялся погромов, которых ничуть не боялся в поверженной Германии. Он, разумеется, ничуть не боялся общественного мнения: он был на поколение старше ровесников Октября и знал, что так называемое "общественное мнение" есть "злое шипение недобитой гидры контрреволюции", или что-то в этом роде: кроме того, чувствовал поддержку родной партии, хотя и была она какая-то не такая, как прежде. И потому он опять-таки боялся погромов.

А главное — даже главнее Венгрии — на Ближнем Востоке родилось нечто такое, чему в его сознании — во всяком случае, в верхних, подвластных самоотчету этажах, — места не было. Еврейское государство. Еврейское государство, которое пошло своим путем. Еврейское государство, которое делалось нацией, даже по Сталину: общность территории, языка и т. д. Ладно Сталин — со Сталиным более или менее покончено, но нынешние? И во времена Синайской кампании⁶, и бури, разбушевавшейся в советской печати, Дымшиц окончательно понял: вот она, настоящая опасность. Молодые ничего не помнят, ничего не понимают, раскачивают на свою голову, на нашу голову... И говорят это смертельно опасное слово: сионизм!

Кажется, он умер вскоре после "самолетного дела". Двадцать лет прошло — может, следует напомнить, что это было такое? Напоминаю: десять человек, восемь евреев и двое русских, решили захватить самолет и на нем добраться до Швеции, а оттуда до Израиля. Повести самолет должен был один из них. Звали его Марк Дымшиц. Скорее всего, не родня. Но — Дымшиц. Эту фамилию мы запомнили сразу, с ходу. Их схватили прямо на аэродроме. Судили. Восемь дали большие срока, двоим — расстрел: Кузнецову и Дымшицу. Потом, когда весь мир взревел, расстрел был отменен. Но в камере смертников они оба посидели.

И после этого, почти сразу, для евреев приоткрылись ворота.

Эти люди нас *освободили*.

* *

*

Уезжать всегда весело. Оставаться всегда печально. И может, лучше всего сказал моему

мужу, прощаясь, старый друг, тоже бывший лагерник:

— Ты освобождаешься, а я остаюсь.

Для оставшихся мы переселялись в лучший мир. Что всегда означало — умираем. И мы это понимали.

Мы расставались навеки.

За собой мы оставляли, главным образом, недоумение. "Я понимаю, молодые люди, — слышала я разговор двух таможенников, двух гебистов, двух молодых людей специальной формации. — Но эти? На что рассчитывают?"

Мне было пятьдесят семь лет, мужу шестьдесят три.

Женщина из домоуправления обняла меня: "Я же понимаю, у вас дочка уехала. Но все-таки, разве вам тут плохо было? Квартира хорошая..."

И шестилетняя внучка, уже в Израиле: "У вас квартира была хорошая. Большой салон..."

И, совсем недавно, несколько месяцев назад, врачаха из Одессы, с которой мы месяца три вместе проучились в шестом классе Четвертой школы:

— Но как *ты* могла уехать? *Ты, русская писательница!*

Мои бывшие соученики (а я переменила в Одессе ни много ни мало, шесть школ!) — раздували значение моей профессии до титула.

Как я смогла уехать? Как мы смогли уехать?

Уезжали весело — уезжать всегда весело. Страх был один — что не увижусь с детьми, с внучкой, — невестке отец не давал разрешения. Но я привычно, с лагерных пор привычно, топила этот, главный, страх. И опасалась — а не заставят ли снять норковую шубу, которую я купила перед самым отъездом. У нас тогда, впервые в жизни, собралось много денег — продали библиотеку. И вдруг я купила эту самую шубу, в

комиссионке. И боялась, что нас с ней разлучат.

Не разлучили. Через полгода дети приехали, и вспоминали, какой потешный вид являла я, когда вышла прощаться, — в норковой шубе, с мочалкой-люфой в руках.

Потом было все так интересно. Сплошная эйфория. Было ли ощущение красоты новой земли? О, да! Я ее описывала. Но почему-то сердце на все отзывалось болью. Даже когда приехали дети и внучка мчалась через весь зал аэропорта Бен-Гурион к стеклу, за которым я стояла, ожидая их. Я долго не понимала, откуда боль. Знала твердо: не ностальгия!

Я писала домой правду: все было так и то. И сжавшееся до осязаемости время — здесь тысячелетия, как в Европе века. И дубрава на месте мамрийского дуба, тропа волхвов — или пастухов, геенна возле стен Иерусалима⁷, красота и значительность здешних лиц. И была еще одна правда, про которую я не писала: мое, наше положение среди всего этого.

Мне рассказывали про женщину из Баку, привыкшую к привилегиям, которая нынче, зимой 1990 года, сказала в аэропорту:

— Теперь я поняла, что я никто.

А мне в аэропорту, четырнадцать лет тому назад, сочувственно сказала барышня из Сохнута (родом из Бессарабии):

— Конечно, очень тяжело...

Стала перечислять утраты. Среди прочих: потеря социального статуса.

По-моему, задело меня не столько сообщение о неминуемой потере социального статуса, сколько непрошеное сострадание молодой бессарабки.

Я не хочу прибавлять свою лепту к той общей жалобной книге, которую двадцать лет подряд писала советская эмиграция за границей. Скажу

только, что людей выпускали из родной страны, как из тюрьмы после отбытия срока — шмонали, шмонали, шмонали и грабили. Правда, разрешали обменять деньги: сто рублей на 120 долларов. Зато взяли втрое больше за отказ от гражданства и впятеро — за визу.

В том самом 1492 году, о котором меня когда-то спрашивал Будагов, евреев тоже грабили, конечно, но по крайней мере их не заставляли платить за лишение гражданства, называя лишение отказом.

Мы рассматривали недобровольные наши взносы как выкуп. А испанские евреи — те не уезжали, их изгоняли. Испания не была для них тюрьмой; они платили, давно уже, чтобы их не изгоняли.

Как бы то ни было, ограбили и тех и других. И, конечно же, грабителям это не пошло на пользу.

Мы были унижены тем, что после сорока и более лет работы в Советском Союзе — и на Советский Союз, — приехали нищими. Правда, мы — лично мы! — привезли с собой финскую мебель, которая спокойно продавалась в Ленинграде, даже в рассрочку (обивку поела жадная средиземноморская моль за год, пока эта мебель стояла на таможне, но это уже другая обида), мебель и шубу — правда, шуба мне в Израиле не пригодилась. К ней нужен кадиллак.

И мы надолго стали иждивенцами. У нас не было пенсий, как у всех, кто приезжает с Запада. У нас не было денег, как у некоторых. У нас не было недвижимого имущества — ни здесь, ни где бы то ни было. Движимого тоже почти не было — все та же мебель, пресловутая шуба и — ах да, книги.

Как нам тут помогали! Дали квартиру за бесплатно — т. е. в наем, государственную, а

не частную. Дали мужу работу на три года — зарплату ему платил не университет, а министерство абсорбции, из каких-то специально отпущенных на это сумм. Даже детям, когда они через полгода приехали, дали квартиру в том же районе... Когда мы достигли пенсионного возраста, — дали что-то вроде американского вэлфэра, тоже непонятно из каких сумм, — ведь мы ничего для этой страны никогда не делали, ничего не скопили, не отложили. За что же вэлфэр? Почему эта бедная страна должна нам платить?

Конечно, нас не грабили по дороге пираты, как это случалось с испанскими евреями. "Лишившиеся покровительства властей изгнанники становились легкой добычей для грабителей и убийц", — пишет Краткая Еврейская Энциклопедия на русском языке, издающаяся в Иерусалиме, об испанских изгнанниках. Нет, у нас судьба была другая: мы не скитались по чужим странам, нас не угоняли в рабство, мы приехали, как говорится, — мы и сами так говорили! — к себе домой. Но почему мы приехали с протянутой рукой? Или, иначе говоря, — почему мы считали, что "нам положено"?

Вот это "нам положено" мы вывели из огромного, всеобъемлющего советского лагеря. "Отдай, что положено!" — кричат в лагере. И во всей стране бывшего социализма, принцип которой давать людям "по труду", дают согласно совсем другому принципу: "что кому положено". Кем положено? Положено. "...Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, это все нам партия дала!" Ходила, имела хождение в период застоя эта переработка лермонтовского текста.

Мы сюда не привезли любовь к партии, и слово "социализм" в душе нашей тоже не будило трепетных чувств. Опять-таки, говорю не обо

всех, вероятно; мое "мы" то разбухает, то сжимается. Мое неотчуждаемое, генетическое "мы".

"Я больше не хочу быть "мы", — прочла я несколько лет назад у Льва Копелева — человека, который всегда был в "мы", — то как партиец, то как оппозиционер, т. е. антипартиец в советском понимании, то как член диссидентской группы, то как з/к — самое многомиллионное "мы". Он всегда обрастал людьми, и всегда был партиен, и всегда был среди тех, кто в данной партии виден, — большой, добрый, притягательный. И вот — ему стало невозможно от "мы", он хочет, наконец, быть "я".

Но все эти "мы" — или выбираются нами, или другая сила нас туда вталкивает — в з/к или в армию.

А как быть с генетикой? С той самой, отмененной товарищем Сталиным? С тем, что унаследовал, не выбирая, с тем, что сделало тебя — тобой? С отцом-матерью и огромной толпой предков, которые не только ты, но и "мы"; "мы" в девятнадцатом и во втором веке, "мы", определившееся не за века до тебя, — за тысячелетия. "Мы", нередко отвергаемое, но неотторжимое, От него не уйти, как от себя.

В семидесятые годы, уже по ту сторону границ и событий, заводились за полными столами споры: при каких условиях можно было бы оставаться в России, в Советском Союзе.

— Я бы осталась, — сказала актриса. — Если бы могла — я бы осталась. Русский язык — без него дышать не могу.

— Осталась — если бы? — спросила ее подруга, русская.

— Если бы евреи там не старались стать "как все", а оставались сами собой. Были бы евреями, одним словом, и чтобы это никого не удивляло, чтобы это было естественно.

— Это невозможно, — сказала подруга и покачала головой.

Ирина В. рассказывала мне: — Валька (имя вымышленное) был в "Европейской" с ребятами из киностудии. И там происходила еврейская свадьба. Он мне говорит: ты знаешь, я не антисемит, но на это смотреть... Эти танцы, эти песни... В Ленинграде, ты подумай, в Ленинграде! В середине двадцатого века! Какое-то местечко Ладеню!

Ирина В., еврейка, была совершенно с ним согласна. "В Ленинграде, в середине века..." Она родилась в Петербурге — нет, в Петрограде, конечно! — еврейского местечка никогда не видела, но его стыдилась.

Я знала Вальку — он, действительно, не был антисемитом. Но вид местечкового ликования вызывал у него нечто подобное тому, что, вероятно, испытывала бы кошка, впервые в жизни увидевшая мышей. Пусть даже белых.

Инстинкты. Инстинкты, которые просыпаются в людях — в толпах — с некими ритмическими промежутками. Вероятно, эти промежутки могут в конце концов быть рассчитаны, как солнечные или лунные затмения. Тем более, что параметры, по которым происходят расчеты, в данном случае известны.

Середина XX века — пятьдесят пятый, примерно, год (мы уже вернулись из лагеря); значит, со времени "дела врачей" прошло каких-нибудь два года. Всего два года — а ведь антиеврейские чувства так давно и так умело возбуждались и расковыривались, как язвы.

Когда это началось в государственном масштабе? Пожалуй, в тридцать девятом году. Осенью. Когда Риббентроп поднес цветы балерине Улановой, ради его приезда приглашенной из Ленинграда в Московский Большой. Его жест

поразил своей великосветскостью. Цветы балерине! Какой Версаль!

Ну, и с нашей стороны был Версаль: в наше полпредство в Германии перестали посылать евреев-переводчиков. Ну, что делать — не любят они евреев! Стоит ли это разговоров? Евреи тоже так думали — во всяком случае так осознавали.

И какие-то фамилии авторов "Правды" и "Известий" — не то, чтобы заслуженных сотрудников, вроде Заславского или, того пуще, Мехлиса, но случайных, новых — неприметно русифицировались. А если был у автора соавтор, то еврейская фамилия почему-то отсекалась. Хотя деньги платили обоим, по ведомости.

Версаль!

Октябрь сорок первого года. Эвакуированных москвичек расселяют в Ульяновске (бывшем Симбирске — на родине Ленина). Их ведут по деревянному губернскому городу — каменных домов немного; в одном жил когда-то Гончаров, висит мраморная доска. Та, что их устраивает, молоденькая, живет тут с самого лета, у родни мужа. Она вдруг останавливается лицом к ним:

— Девочки! Только одно. Евреек среди вас нету? А то хозяйка не хочет...

Есть. Но они молчат. И устраиваются у хозяйки. Старуха — ну, что с нее возьмешь! У нее не взгляды, а... *предрассудки!* Их не переделаешь.

К концу войны ситуация прояснилась. В Одессу, например, не пустили евреев, попавших с университетом в эвакуацию. Почти никто не удивлялся, но еще ахали. Потом и ахать перестали — привыкли. Потом прошел — но остался жить в веках — погром космополитов. Потом в чумной атмосфере Москвы соткалось средневековое дело врачей. Но тут в день Пурима умер Сталин, начался откат, вошедший в историю под названием "оттепель".

Те, кто родился после войны, выросли, повзрослели, стали средним поколением. Это наши дети — дети "ровесников Октября". В отличие от родителей, они с самого детства знали, что евреем быть нехорошо. Знали евреи, знали и неевреи.

И когда приоткрылась калитка в железном занавесе, евреи устремились к ней. Стояли в очередях, сидели в отказе, попадали в лагеря и в психушки. Родители — мы то есть (еще одно неотчуждаемое "мы") — иной раз не давали им разрешения. Но большей частью отпускали, заливаясь слезами, прощаясь навеки. Отпускали на вечную разлуку. Отпускали единственных, строптивых, не согласившихся быть людьми второго сорта, авантюристов и тишайших отличников, хорошо устроенных и неприкаянных, скептиков и — страшно было вслух сказать — сионистов!

Прошло несколько лет. Семьи стали уезжать вместе — родители и дети. Родители направлялись в Израиль, дети — прямо в Америку. Их так и называли тогда — "прямики". Те и другие уезжали не от опасности — уезжали за новой жизнью.

Новая жизнь у кого удалась, у кого нет. И тут, и за пределами, т. е. в окрестностях Иерусалима. Ибо, как известно, Иерусалим — центр мира. Потом поток беженцев стали придерживать, потом и вовсе остановили. Появились новые термины: "рефьюзники" (они же — отказники, почему-то с ударением на последнем слоге), "бедные родственники" (т. е. те, кому кто-нибудь из родственников не давал разрешения); в разговорах тех, кто успел вырваться раньше, иной раз звучало даже злорадство: дескать, предпочли горшки с мясом в свое время, вот и...

И вот — наши дни. Америка закрыла двери, договорившись с Советским Союзом, что он

свои откроет. И твердой рукой направляемый, разбухающий, как Нева осенью, поток по воздуху, по нерасступившимся водам, и чуть ли не по суше — есть уже такие, что прибыли на своих автомобилях и даже на велосипедах — хлынул, ринулся, устремился сюда. В центр мира.

Говорят — исход. Не изгнание — исход. Потому что те, что еще и сегодня говорят и поют на ладино⁸, пятьсот лет назад хотели одного — остаться. Они не повторяли "отпусти народ мой" — они откупались, и откупались снова, и даже отступались от религии (кто для виду, кто всерьез) — они не знали, что Колумб поплыл открывать для них Америку, как принято думать сейчас.

Потому что "Земля, земля!" — закричал еврей-марран на первом из трех колумбовых кораблей. И первым с корабля сошел на сушу тоже еврей-марран — потому, что знал священный древний язык, на котором, по тогдашним понятиям, должны были говорить древние обитатели предполагаемой Индии. Иврит, то есть. Хибру.

Обо всем этом стали писать в Испании при Франко. Собственно, даже раньше — при короле Альфонсе XII, предке нынешнего короля. Он позвал евреев обратно. В сущности, еще раньше: в 1834 году (только!) была уничтожена инквизиция, а через двадцать четыре года был отменен эдикт об изгнании. И когда началась война Испании с Марокко, тонкая струйка марокканских евреев-сефардов потянулась обратно в страну, чей язык они сохранили. Испания объявила их своими гражданами.

Прошло каких-нибудь четыреста лет, и Альфонс XIII признал, что изгнание евреев — черная страница испанской истории.

И главное: когда началась Вторая мировая война, Испания — единственная из европейских

стран! — принимала еврейских беженцев. Франкистская Испания. Франко, одним словом. Против которого боролись лучшие люди Европы и Америки. Я говорю не о дисциплинированных коммунистах, которых посылала партия, не о деятелях Коминтерна; я о таких, как Мальро, или Оруэлл, или Алексей Эйсер, или Хемингуэй, сильно полежавший к концу тридцатых годов. Да и среди советских были искренне убежденные. В том числе евреи. Среди переводчиков их было большинство. Наша "бездородность" все еще помогала в тридцатые годы, как и в двадцатые: наши родители не были ни помещиками, ни капиталистами, ни, с другой стороны, деятелями революции, к тридцать восьмому году репрессированными в своем подавляющем большинстве. Поэтому нас и послали в Испанию: у нас анкеты были как стеклышко.

Так вот, о евреях, боровшихся против Франко. (Кстати, были евреи и в войсках Франко.) В интернациональных бригадах их было очень много; теперь в Испании павшим в рядах интербригад евреям собираются ставить памятник.

Борцам против того, кто спас во время войны тысячи еврейских жизней.

Почему? Как это случилось? Об этом существует целая литература. Правда, с недавнего времени. Писали об этом неохотно, признавали это неохотно, хотя ведь знали! Особенно те, кто уходил из Франции через испанскую границу. Говорят, таможенники грели на этом руки. Так на то же они и таможенники. Факт тот, что спасены были — слушайте! — Десятки Тысяч Евреев! Точнее — 45 тысяч. В первую очередь — сефарды, но и ашкеназы тоже.

Причины? Хаим Липшиц, автор книги "Франко, Испания, евреи и Катастрофа" насчитал их тринадцать, начиная со слухов об отдаленных

еврейских предках Франко и кончая стремлением каудильо занять достойное место в истории. Как бы то ни было, первый корабль, который после войны пересек Средиземное море и привез в Хайфу 400 взрослых евреев и 150 сирот, был испанский корабль "Плюз Ультра". Католическая Испания искупала прошлое.

История продолжала крутить свои восьмерки. В 1949 г. социалистический Израиль устами Аббы Эвена⁹ высказался против допущения Испании в Организацию Объединенных Наций (так ее и не допустили тогда). Перед этим, как пишет Хаим Герцог, нынешний президент государства Израиль, "Испания хотела завязать дипломатические связи с Израилем. Израиль не ответил на это по сентиментальным причинам. В результате Испания ответила на призывы арабов и завязала связи с ними".

Теперь есть уже дипломатические отношения, и евреи из Израйля очень охотно ездят туристами в Испанию. Через два года исполняется пятьсот лет со дня изгнания испанских евреев.

В 1941 году 22 июня в школе Столярского, в Одессе, был митинг. Мальчики-евреи, выпускники десятилетки, музыканты, вставали и говорили, что СССР — страна, которая дала евреям все. И они пойдут защищать ее как евреи. Они пошли ее защищать. Вернулись немногие.

Отец одного из них сказал:

— Этого не надо было говорить!

Сын удивился: почему?

— Ну, так... — сказал отец.

Сын вырос свободным евреем. Отец — отец знал, что история началась не с семнадцатого года. Сын это понял после войны.

И вот сегодня мы слышим по радио: прибыло столько-то тысяч новых репатриантов из Советского Союза. Это за один месяц. Похоже, сейчас все все поняли.

Одиннадцать лет назад я напечатала в парижском русском журнале "Эхо" очерк — или "эссе", как это теперь почему-то называется, "Попутчики". Это был хороший журнал, жаль, что он больше не выходит. Редакторами — в западном смысле слова — были Владимир Марамзин, интересный прозаик, и Алексей Хвостенко, поэт и художник. Печатали они, в основном, советский авангард, или модерн, если хотите, который в советской печати был просто немыслим. Меня они напечатали по старой дружбе, и Марамзин даже написал к "Попутчикам" послесловие. Я так удивилась, что внимательно перечитала его только теперь, через одиннадцать лет. И, кажется, поняла, почему сердце отзывалось болью на все радости первых моих лет в Израиле.

Послесловие кончалось словами:

"А ведь откуда ни зайди, в конце концов пронзает самая острая мысль: Россию жалко.

Если, конечно, кому-то ее жалко".

Вывод абсолютно нелогичный, абсолютно эмоциональный и потому абсолютно искренний.

В этом послесловии немало того, что ощущается как очень современное. Казалось бы, что удивительного? Большой ли это срок — одиннадцать лет? Но ведь он вместил и последние два года, когда все стало разматываться так быстро, так быстро...

Однако же, вот что написано было у Марамзина:

"Живя в эмиграции, мы яснее видим, как старательно — и не глупо — раздувается из Москвы и еврейская обида, и антиеврейские страсти. Говорят, в ГБ есть оба этих отдела, и между ними соцсоревнование".

Сейчас это стало еще виднее, хотя наши гости из Советского Союза, среди них и умные, и бы-

валые, упрекают нас, что мы судим по старым стереотипам. Думаю, нам виднее. Думаю, нам заметнее, как направляется стихия. Зрелище интересное, занятие тоже интересное, но небезопасное. В конце концов, Зубатов не смог спасти Гапона¹⁰. Да и сам Зубатов тоже не стяжал посмертной славы, хотя и был мастером своего дела.

Ладно, речь не о манипуляторах. И даже не о том, что варится и бурлит сейчас в адских котлах международной политики на близких и дальних радиусах от центра мира.

Россию жалко.

Не потому, как она, бедная, будет без нас! Как-нибудь да будет! Всегда найдутся виновные в ее бедах, даже если распадется империя. Жидов, допустим, не будет, и даже породненные с ними уедут куда-нибудь строить капитализм, — но студенты-то останутся? И книжки лучшей, дворянской литературной поры тоже будут проходить в школах, и одиночки будут извлекать оттуда меру вещей и сопротивляться жизни...

И, может быть, эти, будущие студенты, научат ее вообще не искать виноватых? Я неправильно выразилась. Не ее научат, а научатся вместе с ней. Когда-нибудь. Когда-нибудь.

Россию жалко.

И не потому, что мы не можем унести ее на подошвах сапог. Она в нас, так же, как Испания в сефардах, Персия в выходцах из Бухары, Польша и Германия в ашкеназах. Она в нас. Надолго ли? Не о себе говорю — мы, люди моего поколения, так и умрем русскими евреями. Внуки мои еще говорят по-русски. А дальше? Останется ли русский язык, как остался ладино? Или немецкий? Как семейный язык общины? И родится ли через несколько сот лет русскоязычный Шолом-Алейхем?

Казалось бы — какое нам дело? А вот — есть дело.

В начале века мой любимый писатель Владимир Жаботинский с жаром и сарказмом объяснял, что нечего евреям лезть в русскую литературу: во-первых, у них другие задачи, во-вторых, они там навсегда останутся чужими. Его поддерживал Корней Иванович Чуковский. Первый волей-неволей стал родоначальником литературного явления, которое потом получило название "юго-запад", другой (по терминологии нынешних фашистов — "породненный с ними") стал автором книжек, на которых выросло несколько поколений.

Можно ли представить русскую литературу без Пастернака и Мандельштама? Без Ильфа и Петрова? Без Василия Гроссмана? Без Бориса Слуцкого? Без огромного отряда переводчиков, "почтовых лошадей Просвещения"? Без той аттической соли, того еще не определенного наукой витамина, который они внесли в духовную жизнь нации?

Собственно, вопрос этот сугубо риторический. Конечно, нельзя. И не надо. Не надо представлять. Потому что даже если их на какое-то время отменят торжествующие фашисты, как Германия отменила Гейне, это все равно ничего не изменит.

Я сказала "торжествующие фашисты". Люди моего поколения привыкли мыслить историческими аналогиями, хотя товарищ Сталин их долго от этого отучал.

В начале 70-х годов молодой немец по имени Зигфрид — в гитлеровской Германии было популярно это имя — рассказывал:

"Это было весной сорок пятого года; все вокруг гремело, и дом наш содрогался, и я сидел на коленях у бабушки, и она говорила:

— Господи, Господи, это нам наказание. За евреев это нам наказание. За евреев нам это...

Я ее спрашивал: что же мы сделали? Она мотала головой и говорила: не спрашивай, не спрашивай... Все это — наказание... Я очень боялся”.

Боже мой, неужели век наш так намертво зажат между коммунизмом и фашизмом? Так казалось нам в тридцатые-сороковые годы. Казалось, что третьего не дано: или — или.

Но теперь-то? Теперь-то дано?

Соединенные Штаты Европы. Соединенные Штаты Америки. Демократия. Не всегда эта демократия так уж плоха, ”тем более, что остальные формы еще хуже”. Есть третье, есть. Многообразное. И есть Израиль.

Кстати, в израильской литературе русское еврейство еще не сказало своего слова, даже на русском языке.

Один из самых одаренных русскоязычных писателей, попавший сюда совсем молодым, естественно, — религиозный, поразил меня словами:

— Но ведь литература — это так... Забава...

Он продолжает писать. Но главное для него не книги, а КНИГА. Он изучает Тору. В России считали, что литература не забава, а что это святое дело. Может, и сейчас считают. Почему — все давно уже знают: литература вместо всего! И это везде, и не только в Израиле, почитается за недостаток. Но мы на этом выросли и без этого не можем. Даже тут, в Израиле. Может, уже и в России это стало не так — но мы это оттуда вынесли.

Евреи тысячи лет вкладывали все, что могли, в цивилизацию и культуру тех, кто давал им приют. Кончалось это всегда одинаково. Их изгоняли. В лучшем случае, конечно.

И все-таки, что-то они всегда уносили с собой.

Не материальные сокровища. Память. Добрую и недобрую. Они никогда ничего не забывали. Среди других народов они были и учителями, и учениками — иначе не бывает.

Расставаться необходимо, чего там. Наш срок там кончился — одни почувствовали это раньше, другие позже. Но лучше бы расставаться по-благородному, "без перечня взаимных обид" на коммунальной кухне.

Впрочем, вот мы дивимся, как можно думать о русской литературе без Слуцкого и Ильфа, а "перуанцы", вот...

Один из "перуанцев" совсем недавно спросил, проверяя:

— Слушай, а апостолы-то — евреи были?

Спросил у израильянина, бывшего ленинградца, через 17 лет приехавшего на месяц в "свой город, знакомый до слез".

Они когда-то были товарищами. Израильянин, справившись с удивлением, подтвердил:

— Да, и он, и вроде и...

— Вот-вот. Ты не думаешь, что всю эту пакость на мир наслали евреи?

Израильянин ушел, и через несколько дней возвратился в свой Израиль. А "перуанец" остался в Ленинграде и раз в месяц — или может, раз в неделю — собирается на митинг "перуанцев" около Казанского собора.

"Перуанцы" эти — наши, не американские. Зовут назад к Перуну, потому и "перуанцы".

Вполне возможно, однако, что завтра он обнаружит в своей киевской родословной прабабушку еврейку и пойдет в очередь за билетом в Израиль. Билеты теперь заказывают раньше, чем получают вызов. И в этой очереди стоят и "полтинники", и "четвертаки" (которые, как будто, считались евреями по Нюрнбергским законам),

и породненные с ними. И все с детьми. Аэропорты Центральной Европы забиты; огромные семьи — не семьи, целые кланы — сутками ждут рейса в Израиль. Вывозят детей.

Бухарцы, кавказцы, ленинградцы и москвичи — вывозят детей. Тут прадеды и правнуки выполняют стариннейший завет: спасают детей, залог и побег будущей жизни. Побег робко знакомятся и начинают играть вместе тут же, в аэропорту.

Бег. Бег. Бег в лабиринте. Бег по виткам, по восьмеркам истории. Обратно — к нашему дому, между Средиземным и Красным морем.

Теперь мы тут. В Израиле. Дома.

Что мы принесли с собой, кроме нашего религиозного невежества и материальной нищеты? Кроме неумелых рук и неумеренного представления о том, что нам будто бы положено?

В том, одиннадцать лет назад написанном очерке, я написала:

”Поклонимся России за двухсотлетний приют. Она дала нам лучшее, что у нее было: русский язык”.

И свою благородную литературу. И естественное, привычное представление о равенстве людей — мужчин и женщин, евреев и русских, китайцев и негров. И, как ни странно, убеждение, что есть на свете что-то высшее, чем материальные ценности. Наверное, из той же литературы почерпнутое, но живущее в воздухе той страны. По крайней мере, жившее.

Государство от всего этого постепенно отрекалось, а мы захватили с собой. Мы, мечтатели, научившиеся жить там в страшные времена.

Те, которые хлынули сюда сейчас, — технари и поэты (поэтов как-то особенно много получается на душу населения!), врачи и художники, жадные читатели и прожорливые потребители

рок-музыки — какие они? Легко им будет тут? Нелегко. Но они повторяют — в каждом интервью я это слышу:

— Мы дома.

* *

*

Сегодня все учат Израиль — наверное, это благодарность за то, что когда-то евреи всех учили. Все — англичане, французы, американцы — все знают, "как надо". И все хотят быть посредниками. И все указывают. И во всех газетах Израиль — непременно на первой полосе.

Однажды на первой полосе появилась Великобритания. Во время Фолклендской войны. На каком-то дипломатическом приеме израильский представитель спросил у английского: — Ну? Вы, кажется, заняли в газетах наше место?

Британец обиделся и сказал:

— Это совершенно разные вещи.

Антисемитизма сейчас нет никакого: что, арабы — не семиты, по-вашему? Образ международного еврея постепенно заменяется образом израильянина. Израильянина, который стреляет в невинного палестинского ребенка... в маске. В Советском Союзе очередь за билетами на самолет в Израиль занимают за год. Да еще повезет ли этот самолет? Даже венгры струхнули было — это не шутка, когда семиты-антисемиты обещают разные неприятности. Потом успокоились и стали возить. Пришла очередь чехов. Писатель-диссидент Вацлав Гавел целуется с Арафатом, осуждает "поселения на территориях", отказывает евреям в транзите и, главное, готов выступать посредником в делах Ближнего Востока, словно у него нет Судетской области.

У нас правительственный кризис. Ирак грозит

”неконвенциональным оружием”. Арабы — виновата, семиты-антисионисты — собираются на конференции все по тому же вопросу, который не сходит с первых газетных полос: по еврейскому вопросу. По израильскому вопросу.

Таков наш дом и таковы наши соседи, ближние и дальние.

И среди них укоренился Израиль. Как акация.

Когда-то я думала, что слово ”акация” — синоним дерева. Дерево — это и есть акация. Под ними прошло мое одесское детство. Мой мир был обсажен акациями — по всей Спиридоновской до самой Соборной площади. При мне их посадили. Вдоль Спиридоновской были выкопаны ямы и около каждой лежало тоненькое, слабое дерево — акация. Деревья росли тут раньше, до моего рождения, но во время гражданской войны, когда был голод, их спилили (спор мамы и няни: ”При добровольцах!” — ”Нет, это когда пришли галичане!”). Я понимала, что их спилили на дрова: голод — это когда и холод. А цветы акации и есть можно было, они сладкие.

Потом, по веточкам акации мы гадали: любит — не любит. Часто получалось ”плюнет” — на веточке бывало по девять листков. Но мы сразу же срывали другую...

Шла жизнь, прошла жизнь, началась новая. В Иерусалиме. В Рамоте. Чудная квартира, два балкона, с балконов видна оливковая роща, минарет на дальних холмах. И небо — полная чаша.

А вокруг дома — асфальт. И если он не плавится, то это свидетельствует о высоком уровне здешней технологии. Тень бывает только ночная.

Но в то же лето в асфальте пробили дыры, разбросали его в разные стороны, выкопали неглубокие ямы. И посадили какие-то длинные, растопыренные прутья. Дети в наших домах

окрепли раньше, чем эти прутья, и стали их ломать. У новоселов появились машины — и они тоже ломали прутья, причаливая к поребрику, ведомые неопытной олимовской рукой. Кошки размножались быстрее всех — и тоже боролись с ненужной им растительностью.

А теперь на нашей улице есть тень. Прутики хотели жить, выросли и стали акациями. Мы уезжали на год, вернулись — и глазам своим не поверили: неужели? Да, они. И в мае пахнет на нашей улице, как в моем детстве. Может быть, и не совсем так, и веточки не совсем такие, и цветы: запах кислее, листья крупнее и грубее, цветы чуть желтее... Но это они, и новые поколения детей карабкаются на них без труда, а деревья растут и замыкают кольцо моей жизни, а если и изменились на новой почве, то так и должно быть: живые ведь. И живучие.

А на дворе Песах. Небо ясное. Выросшие деревья качаются на ветру. Вчера был хамсин¹¹ — сегодня подуло с запада, — хамсин сломался. На холмах овцы щиплют молодую траву. А на площадке детского сада пусто: дети всю неделю дома.

Израиль празднует Песах — вместе с новыми израильтянами.

ПРИМЕЧАНИЯ

ПОПУТЧИКИ

¹ Сефарды — потомки евреев, живших в Испании и Португалии до их изгнания в конце 15 в.; в Израиле сефардами называют, кроме того, выходцев из стран Востока и Северной Африки, в отличие от ашкеназов — выходцев из стран Западной и Восточной Европы (по древнееврейскому названию Германии — Ашкеназ).

² Киббуц (ивр.) — поселение-коммуна, преимущественно сельского типа.

³ Сабра (араб.; ивр. произношение "цабар") — один из видов кактуса, колючий плод которого содержит сладкую мякоть; очевидно, поэтому словом "сабра" называют уроженцев Израиля.

⁴ Ицхак Навон (род. 1921 г.) — израильский общественный и политический деятель, в 1978 — 1983 гг. — президент Израиля.

⁵ Тора — букв. "учение"; в узком смысле Пятикнижие Моисеево, первые пять книг Священного Писания. В широком смысле — еврейское учение в целом, состоящее из Письменного и Устного учения.

⁶ Марраны — испанские и португальские евреи, принявшие христианство по принуждению, но продолжавшие тайно соблюдать предписания иудаизма.

⁷ Кеведо, очевидно, обыгрывает предписание, запрещающее евреям есть свинину.

⁸ Америко Кастро (1885—1972) — испанский филолог и историк, автор многочисленных работ по истории культуры Испании и Латинской Америки, в том числе фундаментального труда "Испания в ее историческом развитии. Христиане, мавры и евреи".

"ВСЕ ОБЕТЫ"

¹ Хаззан (ивр.); кантор (идиш) — лицо, ведущее синагогальное богослужение; хаззанут — система и приемы канторского пения.

² "Кол нидрей" (букв. "Все обеты") — провозглашение отказа от обетов, зарок и клятв, которое произносится в начале литургии Судного дня.

³ Судный день (Иом-Киппур) — день поста, покаяния и отпущения грехов; важнейший из еврейских праздников.

⁴ Хасиды (от ивр. "хасид" — "благочестивый") — сторонники религиозно-мистического народного движения в иудаизме, возникшего во второй четверти XVIII века среди евреев Украины и впоследствии распространившегося по всему миру.

ЧТО ВДРУГ

¹ "Стерегающий" — русский миноносец, затопленный двумя его матросами после того, как почти вся команда погибла в неравном бою и миноносец был взят на буксир японским судном. В 1911 г. в Петербурге был открыт памятник "Стерегающему".

ЭЛИЗАБЕТ АРДЕН

¹ Консехерос (исп.) — советники.

² Имеется в виду книга Л. Копелева "Хранить вечно".

³ ...Стоп! Тут дальше, через несколько лет, пошла строфа — вернее, куплет — Галича. Настолько хороший, что при

публикации мне одна газета его собственноручно вписала. Вот он: "Советская малина — собралась на совет — советская малина — врагу сказала: нет!" Чудный куплет, но — Галичев! (Прим. автора).

⁴ Тут тоже Галич впоследствии чуть-чуть подправил. Песня долго жила анонимно и развивалась по законам фольклора: кто хотел — подправлял. (Прим. автора).

⁵ Речь идет об Ахилле Левинтоне (см. о нем также в рассказе "Наши дороги домой").

⁶ Дияночки (диал.) — так называют рукавички в Новгородской области.

⁷ ЧСИР — член семьи изменника Родины.

⁸ Строчка "А если он будет Моцарт" принадлежит Д. Кедрину.

ПАСХАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ 1953 ГОДА

¹ Первый седер (ивр., букв. "порядок", "установление") — торжественная трапеза в первый вечер праздника Песах, увековечивающего память об Исходе евреев из Египта (15 в. до н. э.) и освобождении от рабства. На седер подаются предусмотренные ритуалом блюда, имеющие символическое значение и призванные служить напоминанием об Исходе.

ЛАБОРАНТКА ОРНА

¹ Кашрут — правила, определяющие пригодность пищи и предметов культа к употреблению согласно предписаниям иудаизма.

² Олимки — выражение русско-израильского сленга; "олим" (ед. ч. "оле" — букв. "восходящие") так называют в Израиле репатриантов.

³ Бат-мицва (ивр.; букв. "дочь заповеди") — обряд, знаменующий вступление еврейской девочки в совершеннолетие; отмечается по достижении девочкой 12-летнего возраста,

после чего она имеет право соблюдать все заповеди, исполнение которых предписано женщине еврейской религиозной традицией.

⁴ Иврит-кала — букв. "легкий иврит"; упрощенный язык, на котором изъясняется большинство недавних репатриантов.

⁵ Ло, ани ло яхола" (ивр.) — "нет, я не могу".

“АМЕРИКА — ЗЕ БЬЮТИФУЛ”

¹ “Мейфлауэр” — название корабля, на котором группа английских переселенцев-пуритан прибыла в 1620 г. в Северную Америку. Этих переселенцев, которые основали первое в Новой Англии поселение Новый Плимут, называют “отцами-пилигримами”.

ИЗУМРУДНЫЙ ПЕРСТЕНЬ

¹ “Арец” (ивр.) — страна; употребляется в значении “Израиль”; “хуц-ла-арец” (ивр.) — заграница.

ЖАБОТИНСКИЙ — ПРОЗАИК

¹ Еврейский легион — воинское подразделение британской армии времен Первой мировой войны, состоявшее из еврейских добровольцев; В. Жаботинский был инициатором создания Еврейского легиона.

² В издательстве “Библиотека—Алия” вышли следующие книги В. Жаботинского: “Избранное” (1978; 1989); “Повесть моих дней” (1985; 1989); “Самсон Назорей” (1990); “Пятеро” (1990).

³ Теодор Герцль (1860—1904) — основатель политического сионизма, создатель Всемирной сионистской организации. В 1903 г. Т. Герцль представил на рассмотрение 6-го Сионистского конгресса план создания независимой еврейской колонии в Уганде (под верховной властью Великобритании), поскольку основание еврейского национального очага в

Палестине, находившейся под властью турок, было тогда невозможно. План Уганды не был принят 6-м Сионистским конгрессом.

⁴ Хаим Вейцман (1874—1952) — выдающийся сионистский деятель, известный химик; в 1920—1931 и 1935—1946 гг. — президент Всемирной сионистской организации; первый президент Израиля. На 6-м Сионистском конгрессе Х. Вейцман вместе с другими молодыми лидерами выступил против плана Уганды.

НАШИ ДОРОГИ ДОМОЙ

¹ В. О. Стенич (Сметанич) — известный советский переводчик с английского; переводил Д. Джойса, Дос Пасоса и др.

² Большой дом — так называют ленинградцы здание КГБ.

³ Самое интересное: автор этой статьи подписался... псевдонимом. (Прим. автора).

⁴ "Мама Елена" — Елена Чаушеску, жена бывшего румынского диктатора.

⁵ Эрнст Рем (1887—1934) — один из главарей фашистской Германии, участник фашистского путча 1923 г.; с 1931 г. — начальник штаба штурмовых отрядов, которые он стремился превратить в костяк создававшейся массовой армии; был убит с санкции Гитлера вместе с группой других главарей штурмовиков (так называемая "ночь длинных ножей").

⁶ Синайская кампания — операция Армии Оборона Израиля против египетских войск в Синае; происходила в 1956 г. параллельно с военными действиями Англии и Франции против Египта в связи с национализацией Суэцкого канала. Несмотря на вывод израильских сил с Синая (под давлением СССР и США), Израиль добился признания права судоходства по Эйлатскому заливу и прохода в Красное море через Тиранский пролив.

⁷ Мамрийская дубрава в Хевроне — место, где поселился праотец Авраам после того, как Бог подтвердил обещание

отдать весь Ханаан потомству Авраама и сделать это потомство бесчисленным, "как песок земной" (см. Бытие, 13:18).

Геенна (гехином, гехенна) — в послепиблейской литературе обозначение ада, где вечно горит огонь; происходит от названия долины "Ге бен-Хинном" (Ге бней Хинном), расположенной к югу от Старого города в Иерусалиме, где в древности сжигали детей в жертву Молоху.

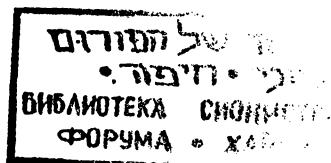
⁸ Ладино (или еврейско-испанский) — разговорный и литературный язык евреев испанского происхождения, поселившихся в Греции, Югославии, Болгарии и Румынии.

⁹ Абба Эвен (р. 1915) — израильский государственный деятель; в 1949—1959 гг. — представитель Израиля в ООН.

¹⁰ С. В. Зубатов (1864—1917) — жандармский полковник, начальник Московского охранного отделения и Особого отдела департамента полиции; создатель сети легальных рабочих организаций под контролем полиции, в которых проповедовались идеи борьбы за экономические права с целью отвлечения рабочих от политической борьбы.

Г. А. Гапон (1870—1906) — священник, был связан с Зубатовым, создавал в Петербурге организации по типу зубатовских; был инициатором шествия рабочих к царю 9 января 1905, закончившегося массовым расстрелом, впоследствии стал платным агентом охраны, был разоблачен и повешен по приговору суда подпольщиков.

¹¹ Хамсин (от араб. "хамсин" — пятьдесят) — движение воздушных масс из пустыни, длящееся подряд один-два дня, порой дольше. Всего в году бывает около пятидесяти дней хамсина.



ציריית חיפה
מערבית
בית הילדים
מס. 782

КНИГИ ИЗД-ВА "БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ"

1. **Леон Юрис. ЭКСОДУС. Книга 1**
2. **Леон Юрис. ЭКСОДУС. Книга 2**
3. **Д-р А.И.Кауфман. ЛАГЕРНЫЙ ВРАЧ**
4. **Сарра Нешамит. ДЕТИ С УЛИЦЫ МАПУ**
5. **Арье (Лева) Элиав. НАПЕРЕГОНКИ СО ВРЕМЕНЕМ**
6. **Д-р Е.Хисин. ДНЕВНИК БИЛУЙЦА**
7. **Макс Брод. РЕУВЕНИ, КНЯЗЬ ИУДЕЙСКИЙ**
8. **6 000 000 ОБВИНЯЮТ (Процесс Эйхмана)**
9. **А.И.Гешель. ЗЕМЛЯ ГОСПОДНЯ**
10. **НА ОДНОЙ ВОЛНЕ. Еврейские мотивы в русской поэзии**
11. **Натан Альтерман. СЕРЕБРЯНОЕ БЛЮДО**
12. **Шаул Черниховский. СТИХИ И ИДИЛЛИИ**
13. **Теодор Герцль. ИЗБРАННОЕ**
14. **Ахад-Гаам. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ**
15. **Ахарон Мегед. ХЕДВА И Я**
16. **Яков Цур. И ВОССТАЛ НАРОД**
17. **Р. и У.Черчилль. ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА**
18. **ПРИДЕТ ВЕСНА МОЯ. Стихи советского еврея**
19. **Говард Фаст. МОИ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ БРАТЬЯ**
20. **И.Домальский. РУССКИЕ ЕВРЕИ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ**
21. **Игал Аллон. ОТЧИЙ ДОМ**
22. **Юлия Шмуклер. УХОДИМ ИЗ РОССИИ**
23. **Хана Сенеш. ДНЕВНИК**
24. **ЕВРЕИ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ (1917—1967)**
25. **Ш.Й.Агнон. ИДО И ЭЙНАМ. Рассказы, повести, главы из романов**

26. Элизер Смоли. ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
27. Тувия Божиковский. СРЕДИ ПАДАЮЩИХ СТЕН
28. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. Книга 1
29. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. Книга 2
30. А.Итай и М.Нейштат. ЧЕРЕЗ ТРИ ПОДПОЛЬЯ
31. Эли Люксембург. ТРЕТИЙ ХРАМ
32. С.Г.Фруг. СТИХИ И ПРОЗА
33. Р.Губер. КНИГА БРАТЬЕВ
34. ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ. Географический очерк
35. Дж. и Д.Кимхи. ПО ОБЕ СТОРОНЫ ХОЛМА
36. И.Башевис-Зингер. РАБ
37. Р.Бонди. ЭНЦО СЕРЕНИ
38. Иегуда Галеви. СЕРДЦЕ МОЕ НА ВОСТОКЕ
39. Шломо Цемах. ГОД ПЕРВЫЙ
40. Шаул Авигур. С ПОКОЛЕНИЕМ ХАГАНЫ
41. Ханох Бартов. ВОЗМУЖАНИЕ
42. Ружка Корчак. ПЛАМЯ ПОД ПЕПЛОМ
43. Бернард Маламуд. ПОМОЩНИК
44. ДРУЗЬЯ РАССКАЗЫВАЮТ О ДЖИММИ
45. МОЙ ПУТЬ В ИЗРАИЛЬ. Сборник очерков
46. Моше Натан. БИТВА ЗА ИЕРУСАЛИМ
47. Ицхак Маор. СИОНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ
48. Ицхак Шенхар. СЫНЫ ЗДЕШНИХ МЕСТ
49. Генри Рот. НАВЕРНО ЭТО СОН
50. СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
51. Моше Шамир. ОН ШЕЛ ПО ПОЛЯМ
52. Ахарон Мегед. ЗА СЧЕТ ПОКОЙНОГО
53. Давид Маркиш. ПРИСКАЗКА
54. МАКОВЫЙ ХОЛМ. Рассказы о жизни в киббуцах
55. Джон Орбах. РИКША
56. Иосеф Гедалия Клаузнер. КОГДА НАЦИЯ БОРЕТСЯ ЗА
СВОЮ СВОБОДУ

57. **Исаак Бабель. ДЕТСТВО И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ**
58. **Проф. И. Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 1**
59. **Проф. И. Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 2**
60. **Андре Шварц-Барт. ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ПРАВЕДНИКОВ**
61. **Эммануэль Литвинов. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МАЛОЙ ПЛАНЕТЕ**
62. **Владимир (Зеев) Жаботинский. ИЗБРАННОЕ**
63. **Мартин Бубер. ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ**
64. **Макс И. Даймонт. ЕВРЕИ, БОГ И ИСТОРИЯ**
65. **Сол Беллоу. ПЛАНЕТА м-ра СЭММЛЕРА**
66. **ЕВРЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ И РЕЛИГИЯ. Сборник:**
И. Кауфман. Библейская эпоха
Л. Финкелстайн. Еврейская вера и претворение ее в жизнь
Ш. Эттингер. Корни современного антисемитизма
67. **А. Суцкевер. ЗЕЛЕНЫЙ АКВАРИУМ**
68. **АНТИСЕМИТИЗМ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ. Сборник**
69. **СКОПУС. Антология поэзии и прозы писателей-репатриантов из СССР**
70. **Ури Дан. ОПЕРАЦИЯ ЭНТЕББЕ**
71. **Моше Шамир. СВОИМИ РУКАМИ**
72. **Л. Коллинз и Д. Лапьер. О, ИЕРУСАЛИМ!**
73. **М. Новомейский. ОТ БАЙКАЛА ДО МЕРТВОГО МОРЯ**
74. **М. Гесс. РИМ И ИЕРУСАЛИМ**
75. **Ф. Кандель. ВРАТА ИСХОДА НАШЕГО**
76. **Ф. Баазова. ПРОКАЖЕННЫЕ**
77. **А. Шлионский. ГОРЫ ГИЛЬБОА**
78. **Иехуда Бурла. ПОХОЖДЕНИЯ АКАВЬИ**
79. **Х. Н. Бялик и И. Х. Равницкий. АГАДА**
80. **ИСКУССТВО В ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ**
81. **ДВЕ КОНЦЕПЦИИ ЕВРЕЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ:**
Б. Динур. Исторические основы возрождения Израиля
С. Дубнов. Письма о старом и новом еврействе

82. **ЕВРЕЙСКАЯ СРЕДНЕВЕКОВАЯ ПОЭЗИЯ
В ИСПАНИИ**
83. **Х. Бартов. ВЫДУМЩИК**
84. **Гилель Бутман. ЛЕНИНГРАД — ИЕРУСАЛИМ
С ДОЛГОЙ ПЕРЕСАДКОЙ**
85. **Жак Дерожи. ТАЙНА СУДНА "ЭКСОДУС-1947"**
86. **Цивья Любеткин. В ДНИ ГИБЕЛИ И ВОССТАНИЯ**
87. **М. Стейнберг. ОСНОВЫ ИУДАИЗМА**
88. **А. Кестлер. ВОРЫ В НОЧИ**
89. **Я СЕБЯ ДО КОНЦА РАССКАЗАЛА. Сборник стихов**
90. **Ада Серени. КОРАБЛИ БЕЗ ФЛАГОВ**
91. **Иехуда Атлас. ХОТЬ НА ВИСЕЛИЦУ**
92. **М. Стейнберг. КАК СОРВАННЫЙ ЛИСТ**
93. **Н. Полетика. ВИДЕННОЕ И ПЕРЕЖИТОЕ**
94. **Эли Визель. ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ**
95. **Альбер Мемми. ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕВРЕЯ**
96. **Шломо Авинери. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
В ЕВРЕЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ**
97. **МЫ НАЧИНАЛИ ЕЩЕ В РОССИИ. Воспоминания**
98. **Хаим Градэ. АГУНА (БЕЗМУЖНЯЯ ЖЕНА)**
99. **Луи Финжелстайн. РАББИ АКИВА**
100. **Хаим Вейцман. В ПОИСКАХ ПУТИ. Книга 1**
101. **Хаим Вейцман. В ПОИСКАХ ПУТИ. Книга 2**
102. **Муна М. Мардор. СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ**
103. **Феликс Розинер. СЕРЕБРЯНАЯ ЦЕПОЧКА**
104. **Владимир Лазарис. МОЯ ПЕРВАЯ ВОЙНА**
105. **Михазль Бар-Зохар. БЕН-ГУРИОН. Биография. Книга 1**
106. **Михазль Бар-Зохар. БЕН-ГУРИОН. Биография. Книга 2**
107. **ИВРИТ — ЯЗЫК ВОЗРОЖДЕННЫЙ. Сборник статей**
108. **Ахарон Аппельфельд. ПОРА ЧУДЕС**
109. **Гилель Бутман. ВРЕМЯ МОЛЧАТЬ И ВРЕМЯ
ГОВОРИТЬ**
110. **Голда Меир. МОЯ ЖИЗНЬ. Книга 1**

- 111. **Голда Меир. МОЯ ЖИЗНЬ.** Книга 2
- 112. **Василий Гроссман. НА ЕВРЕЙСКИЕ ТЕМЫ.** Книга 1
- 112. **Василий Гроссман. НА ЕВРЕЙСКИЕ ТЕМЫ.** Книга 2
- 113. **В ОТКАЗЕ.** Сборник
- 114. **Гершом Шолем. ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ЕВРЕЙСКОЙ МИСТИКЕ.** Книга 1
- 115. **Гершом Шолем. ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ЕВРЕЙСКОЙ МИСТИКЕ.** Книга 2
- 116. **Эфраим Урбах. МУДРЕЦЫ ТАЛМУДА**
- 117. **В ПОИСКАХ ЛИЧНОСТИ.** Сборник рассказов современных израильских писателей
- 118. **Владимир (Зеев) Жаботинский. ПОВЕСТЬ МОИХ ДНЕЙ.** Воспоминания
- 119. **Оскар Минц. ПРИЗМЫ**
- 120. **Игал Аллон. ЩИТ ДАВИДА**
- 121. **Моше Даян. ЖИТЬ С БИБЛИЕЙ**
- 122. **Иерухам Кохен. ВСЕГДА В СТРОЮ.** Записки израильского офицера
- 123. **Исраэль Таяр. СИНАГОГА — РАЗГРОМЛЕННАЯ, НО НЕПОКОРЕННАЯ**
- 124. **Виталий Рубин. ДНЕВНИКИ. ПИСЬМА.** Книга 1
- 125. **Виталий Рубин. ДНЕВНИКИ. ПИСЬМА.** Книга 2
- 126. **Анита Шапира. БЕРЛ.** Книга 1
- 127. **Анита Шапира. БЕРЛ.** Книга 2
- 128. **Хаим Гвати. КИББУЦ: ТАК МЫ ЖИВЕМ**
- 129. **Виктория Левитина. РУССКИЙ ТЕАТР И ЕВРЕИ.** Книга 1
- 130. **Виктория Левитина. РУССКИЙ ТЕАТР И ЕВРЕИ.** Книга 2
- 131. **Януш Корчак. ИЗБРАННОЕ**
- 132. **Ашер Бараш. ИСТОРИЧЕСКИЕ НОВЕЛЛЫ**
- 133. **Ицхак Орен (Надель). МОЯ КАМЕНОЛОМНЯ**
- 134. **Андрэ Неер. КЛЮЧИ К ИУДАИЗМУ**
- 135. **Ицхак Зив-Ав. ГОВОРЯТ, ЕСТЬ СТРАНА...**
- 136. **Эрбер Ле Поррье. ВРАЧ ИЗ КОРДОВЫ**

137. ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ. Становление и развитие.
Книга 1
138. ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ. Становление и развитие.
Книга 2
139. ИЗРАИЛЬ. Географический справочник
140. Шломо Гилель. С ВЕТРОМ ВОСТОКА
141. М.Бейзер. ЕВРЕИ В ПЕТЕРБУРГЕ
142. Абба Ковнер. КНИГА СВИДЕТЕЛЬСТВ
143. Авигдор Шинан. МИР АГГАДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
144. Давид Роскес. ВОПРЕКИ АПОКАЛИПСИСУ
145. Томас Манн. О НЕМЦАХ И ЕВРЕЯХ
146. Рамбам (Маймонид). ИЗБРАННОЕ. Книга 1
147. Рамбам (Маймонид). ИЗБРАННОЕ. Книга 2
148. И.Ахарони, Б.Ротенберг. ПО СЛЕДАМ
ЦАРЕЙ И БУНТАРЕЙ
149. И.Гутман, Х.Шацкер. КАТАСТРОФА И ЕЕ
ЗНАЧЕНИЕ
150. Амос Эттингер. СЛЕПОЙ ПРЫЖОК
151. Феликс Кандель. СЛОВО ЗА СЛОВО
152. Ицик Мангер. ЖИЗНЬ В РАЮ
153. Леон Юрис. МИЛАЯ, 18. Книга 1
154. Леон Юрис. МИЛАЯ, 18. Книга 2
155. Коннор О'Брайен. ОСАДА. Книга 1
156. Коннор О'Брайен. ОСАДА. Книга 2
157. Давид Шахар. ЛЕТО НА УЛИЦЕ ПРОРОКОВ
158. Владимир (Зеев) Жаботинский. САМСОН НАЗОРЕЙ
159. И.Башевис-Зингер. СБОРНИК РАССКАЗОВ
160. Владимир (Зеев) Жаботинский. ПЯТЕРО
161. Малькольм Хэй. КРОВЬ БРАТА ТВОЕГО
162. А.Эйнштейн. О СИОНИЗМЕ
163. И.Константиновский. СУДНЫЙ ДЕНЬ
164. СКОПУС — II. Сборник произведений израильских
литераторов, пишущих по-русски

165. **Р.Зернова.** ИЗРАИЛЬ И ОКРЕСТНОСТИ.
Сб. рассказов
166. **П.Пели.** ТОРА СЕГОДНЯ
167. **Р.Маркус, Г.Козн, А.Галкин.** ТРИ ВЕЛИКИХ ЭПОХИ
ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ
168. **С.Кац.** ЕВРЕЙСКИЕ ФИЛОСОФЫ
169. **Э.Луз.** ПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ ПАРАЛЛЕЛИ
170. **Яков Кац.** КРИЗИС ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ

МОЛОДЕЖНАЯ СЕРИЯ

1. **Рут Сэмюэлс.** ПО ТРОПАМ ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ
2. **Дорит Оргад.** МАЛЬЧИК ИЗ СЕВИЛЬИ
3. **Ури Орлев.** ОСТРОВ НА ПТИЧЬЕЙ УЛИЦЕ
4. **Амос Оз.** СУМХИ
5. **Шмуэль Хуперт.** ЛЬВЫ В ИЕРУСАЛИМЕ
6. **Й.Сегал.** ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ
7. **Яэль Розман.** МОЙ РОМАН С БЕН-ГУРИОНОМ И
ПНИНОЙ
8. **Двора Омер.** ПЕРВЕНЕЦ ДОМА БЕН-ИЕХУДЫ
9. **Сами Михазль.** ПАЛЬМЫ В БУРЮ
10. **Шмуэль Авидор-Хакохен.** И СОТВОРИЛ БОГ...
11. **Двора Омер.** ЛЮБИТЬ ДО КОНЦА
12. **Юрий Суль.** ПАРТИЗАНЫ ДЯДИ МИШИ
13. **Ицхак Ной.** РОН И ДЖУДИ
14. **И.Башевис-Зингер.** ГАСНУЩИЕ ОГНИ. Сборник рассказов
и сказок для детей
15. **Эстер Файн.** ХАДАС
16. **Н.Гутман и Э.Бен-Эзер.** МЕЖ ПЕСКАМИ И НЕБЕСНОЙ
СИНЬЮ
17. **СЧАСТЬЕ, ЧТО Я — ЭТО Я!** Антология израильской детской
литературы. Книга I

18. ОСВЕЩЕННОЕ ОКНО. Антология израильской детской литературы. Книга 2
19. Одед Бецер. ЧУДЕСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНА БАР-КОХБЫ
20. Давид Шахар. ТАЙНА РИКИ
21. Абба Эвен. МОЙ НАРОД. Том I
22. Абба Эвен. МОЙ НАРОД. Том II
23. Мартин Гилберт. АТЛАС ПО ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
24. Ги́ла Альмагор. ЛЕТО ИЗ ЖИЗНИ АВИА

**ТРЕБУЙТЕ КНИГИ
ИЗДАТЕЛЬСТВА
"БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ"
ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ
РУССКОЙ КНИГИ**

**Наши книги можно заказать
также по адресу:
Р.О.В. 4140
91041 Jerusalem
Israel**

